

# ДАНИИЛ ГРАНИН

Мой  
лейтенант

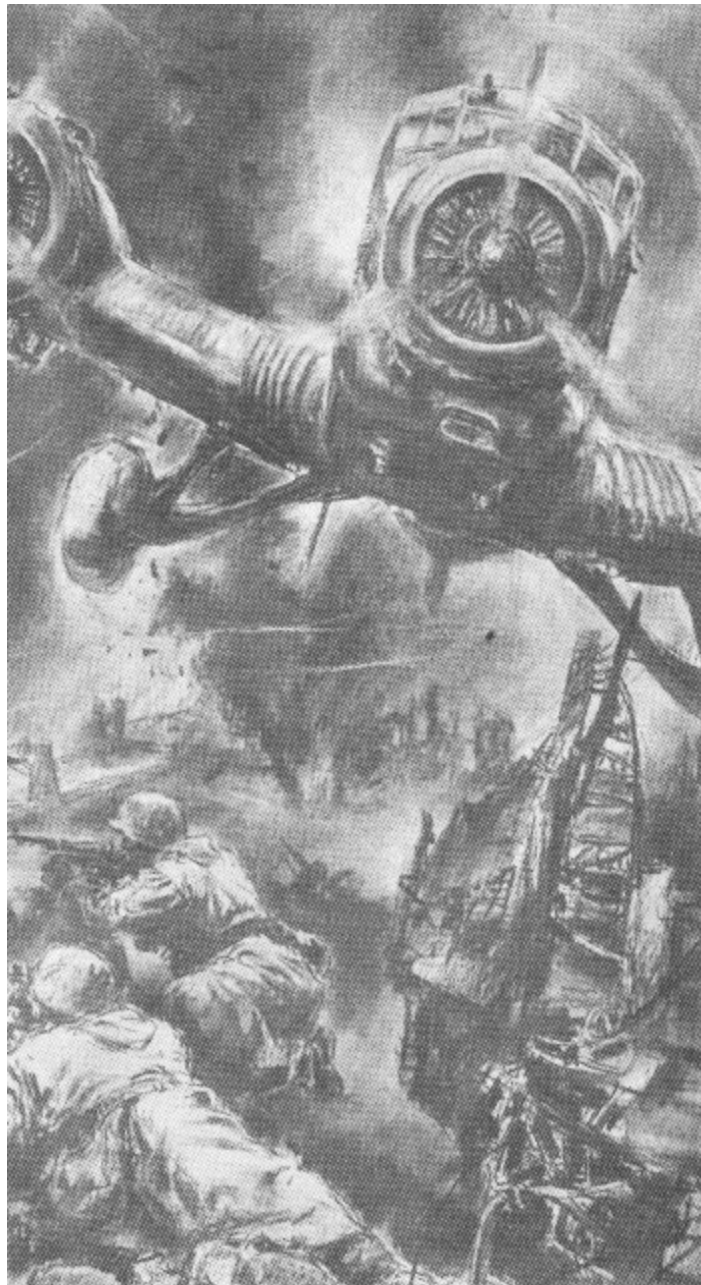


— *Вы пишете про себя?*

— *Что вы, этого человека уже давно нет.*



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



*Первая бомбежка*

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбёжка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтора от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит — есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый захват. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее, я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон

смертью. Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй! Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных — господи... помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил — Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого... От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корёжили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек...

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

...Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло палёным, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.

Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог — ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка...

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы — ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнивалось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней, против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «окружили!» — и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику. Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

Незадолго до его смерти в Доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале, его не издавали, выступления его были запрещены. Вечер его устраивали тайком. Под видом его творческого отчета. Приглашали по ограниченному списку. Зощенко радовался, последнее время он находился в изоляции, нигде не бывал, никуда его не приглашали — боялись.

Вечер получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «Сто самых удивительных историй моей жизни», некоторые из них он нам пересказал. Он не читал. Рукописи у него не было. Видимо, он их еще не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко.

Случилось это на войне, на ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа наизготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой

разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

### *Летний сад*

Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца, за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве Летнего сада.

Бен попал в зенитную часть, Вадим — в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастеров. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, фуранька, как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой. Весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть печаль от предстоящей нашей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка - б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах — стоптанные кем-то ботинки, обмотки и в завершение — синие диагональные галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя

много лет я нашел старинную, потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел компьютером и заклинаниями вытащить нас троих из тьмы последнего нашего свидания на свет Божий, и я увидел себя в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее они возмущались: неужели меня, как звал Вадим, вольноопределяющегося, не могли обмундировать как следует!

Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки? Идиотское выражение, но, судя по обметкам, прежде всего — грудью!

Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли бронь и зачислили в ополчение.

То есть рядовым в пехоту? — спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война — профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В Университете на Вадима возлагали большие надежды. Сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики, возлагал. Считалось, что Вадим Пушкарёв предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость. Доктор наук, а может, и членкор.

Я гордился их дружбой, тем, что допущен, на меня, рядового инженера, никто не возлагал... В их компании я всегда выглядел чушкой, они, по сравнению со мной — аристократы. Во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку с водкой, отцовскую, пояснил он, времен Первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку —

*...от тайги  
до британских морей  
Красная Армия  
всех  
сильней!*

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем.

Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние — в злобу и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все это уже когда-то было — война, падение империи, чума, разруха.

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.

### ***В то воскресенье***

Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью, считал ее забавным совпадением, не более. Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергоф, ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые гнусные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляют эти словечки — «хочу», «дам», «не дам», «кому хочу — тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто, когда лишал их девственности, я не знал, они мне доставались «распечатанными», более или менее опытными.

Здесь же было другое. Совсем другое. Я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те

времена нравственные правила еще не считали предрассудками. Как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее.

День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары, пахучий день равноденствия, разгар белых ночей, кипящей крови. Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться? Чего я не собирался, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях, я знал, что она догадывается, от этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивая челочкой темных волос, вскрикивала: «Ой, воды!». Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали. Наслаждение смехом заставляло меня изощряться в остроумии. Мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже месяца три, мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паюсной икрой, чем она хвасталась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется, талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию посмотреть на соперника. Действительно, оказалось — славный мужик, выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала, врать она не умела начисто, она прямо-таки угнетала своей честностью.

В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман куртки так, чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не фуфры-мухры. И в Дудергофе я куражился — перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд. Откуда-то появляются ловкость и сила, срабатывает древний инстинкт, к человеку возвращается прекрасное природное естество, поют без устали свои серенады, дятлы отщелкивают барабанят свои любовные призывы, не щадя головы, не только ради самок, это весна переполняет жизненными силами, самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает.

Счастливое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться.

Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли, и началась игра касания, поцелуи, вновь касания. Ее белые ровные зубы, чистое дыхание казались мне частью налитой соками природы, как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву.

Потом я часто спрашивал себя: почему другие губы, другие тела, тоже красивые, молодые, не доставляли такого физического наслаждения?

Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть, день обещал жару, счастье. Неожиданно раздались голоса, резкие, грубые, им откликнулись другие, слева, справа, быстро приближаясь.

Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал:

— Уходите, здесь сейчас нельзя.

— Что такое? — спросил я.

— Война, — коротко бросил он и куда-то побежал.

Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому, он продолжался, распевая птичьим гомоном.

Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки, и Римма была еще соблазнительней.

Возвращались под вечер. Поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к другу, радуясь этому. Кругом говорили про войну, бомбардировки. Война с кем — с немцами? Я удивлялся, не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает эта правда, я не представлял, но порывы общей тревоги наконец настигли нас.

Неизвестно, как бы развивался наш роман, возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня, молодость жаждала новых и новых влюбленностей.

С вокзала я поехал на завод. Надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили.

На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться: как же, война — и без меня.

Трудно понять, чего тут было больше — тщеславия, патриотизма, авантюристичности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов. <sup>h</sup> Авантюризм мой проявлялся неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеши, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем, для чего — я только что

прочел его роман «Зависть», восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай. А может быть — вино, я не разобрался. С порога объявил об нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше, наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил «мальчиков».

Дальнейшее не запомнилось: хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию, без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, что бы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я перечитывал его книги с нежностью — этот малорослый неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой, и как он умел читать чужие книги.

В ополчение меня не брали, я числился инженером в СКБ у Ж. Я. Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять «броню». Меня зачислили в Первую дивизию Народного ополчения, «1 ДНО». Я был счастлив. Чем?.. Любовь должна была бы удерживать меня, роман только разгорался, работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл.

На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты.

Правда, если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята — Вадим, Бен, Илья, Леня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем Радиоинституте и держался за нее обеими руками.

— Защищать грудью страну я не собираюсь, — говорил он.

— Это же образное выражение, нельзя понимать буквально.

— Винтовку тебе дали? Нет? То-то. Чем же ты будешь воевать?

Ничто не могло остановить меня, я предстал перед Риммой в гимнастерке б/у, синих диагональных галифе, тяжелых ботинках с обмотками, выглядел нелепо, а чувствовал себя гусаром,

кавалергардом. Если бы пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой — бутылку с зажигательной смесью.

Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. Начиная инженер, из семьи бедной, отец в Сибири, внешность — так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен, спрашивается — в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви.

То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимое чувство чистоты, во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол, в соседней комнате спали моя мать, сестра; проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно, и сдерживание было приятно, и ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви, восходящая ветвь круто поднималась к звездам, в бесконечность, казалось, так будет всегда.

Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки — все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения.

Неопытность была во всем — в войне, в любви, продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках, мы отправились в ЗАГС. Предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года, третий месяц войны, немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего, и у меня не было, к тому времени я убедился, что Германию одолеть непросто, и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем четыре дня. Будет у Риммы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдатику, иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобная сладостная лирика.

Мне приятно было адресовать ей аттестат, грошовая сумма, но все же.

ЗАГС на Чайковского был закрыт, ушли в бомбоубежище. В ЗАГС на Владимирском попал снаряд. Направились на площадь Стачек. Мы готовы были ходить из ЗАГСа в ЗАГС, регистрироваться дважды, трижды, ждать на ступеньках... Наконец мы добились своего, она получила штамп в паспорте, в мою солдатскую книжку штампа не полагалось.

Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и по фужеру вина. Официантка, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую пустоту стола заполнила Римма, ее счастливость, ее глаза, смех. Достаточно было смотреть на нее. Для женщины свадебный акт значит много. Я просто любовался ею, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку.

Никаких планов совместной жизни мы не строили, я возвращался на фронт, она на завод. День был теплый, летнее голубое платье, глубокий вырез, маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще — шелковая темно-синяя косынка или шарфик. Вдруг я сообразил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне, через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать, о ней можно скучать на , передовой.

В ополчении мне полагалась инженерная зарплата. Одну половину я выписал аттестатом на родителей, другую — Римме, ей было приятно, что я узаконил ее.

В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей, мало того что она имела совершенную фигуру — тоненькая талия, крутые выпуклости, так она беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовала наши встречи у подруги, — она была старше меня на год, на два, выглядела же девчушкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне, ходила со мной на выставки, ездила на Острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро, рассказчицей была талантливой, с ней было весело, легко, увлекалась она фотографией, без конца снимала меня, себя, нас обоих, это, как она говорила, заменяет ей дневник.

Я удивлялся тому, как с Риммой начисто позабыл о ней.

Новость о моей женитьбе дома приняли прохладно. Мать считала, что ее сын заслуживает куда большего. Трудно сказать, что она имела в виду, может, художницу, может, актрису, дочь ученого, генерала. Ни профессия, ни происхождение — отец Риммин — совслужащий, мать — учительница музыки, воронежские провинциалы — это ее не устраивало. И сама Римма — кто она — инженер-плановик из МХ-3. Особенно ее раздражало это «три», третий механический. Внешность самая заурядная, обкрутила, вцепилась: такой парень, конечно, для провинциалки завидная партия...

22 июня 1941 года, через несколько часов после начала Великой Отечественной войны, Черчилль выступил по радио и заявил, что Англия будет бороться с гитлеровской Германией до конца. Он не упрекал Советский Союз за союз с Гитлером в ходе Второй мировой войны. Он сказал: «Если мы будем пытаться поссорить прошлое и настоящее, мы проиграем будущее». Точное это изречение определило всю военную политику Англии. Хотя с июня 1941 по осень 1942 года русский фронт, как он выразился, показался ему «обузой, а не подспорьем».

### ***Безошибочная наша жизнь***

На экзамене в школе учительница спросила меня — почему Лев Николаевич Толстой в своей эпопее «Война и мир» описывает не нашу победу, как русские войска входят в Париж, разгром Наполеона? Нет, у него по сути история нашего поражения, французы в Москве, пожар Москвы, Наполеон в Кремле.

Действительно — почему? Я помню, как меня озадачила эта несообразность. Казалось бы, чего ради отказываться от ликующего финала, да и всей истории бегства непобедимого французского императора, наступления русских войск.

Я не мог ответить, мямля, мычал что-то невразумительное, роман был толстенный, читал я его кое-как, может чего-то упустил, но вхождения в Париж точно не было.

После школы время от времени я возвращался к этой загадке великого романа.

Конечно, ручаться не могу, думается однако, что в первоначальный период войны, когда вторжение французов шло неудержимо, Россия терпела позор поражений, отступлений. Был упадок воли, разочарование, беспомощность начальства, но стали открываться сокровища духа народного. Даже когда Москва сгорела, духом не пали. Наверное, эта стойкость, эти резервы сознания и любви к родине привлекли Толстого. Победа, она мало что открыла бы, она следствие тех испытаний, какие русская армия выдержала, не капитулировала.

На Римму его пример не произвел впечатления. Та давняя война ничего не доказывает. Монархи воевали по-своему, то была одна Россия, а эта Россия другая. И противник другой. Французы — это нормальные люди, Наполеон не Гитлер.

На днях у них был в цеху разговор о том, что же на фронте творится, как быстро раздолбали Красную Армию. Начальник цеха взялся всех успокаивать. Откуда нам знать, говорил он, может, это спецоперация, решили заманить немцев в глубь страны и там окружить и уничтожить. Продуманный план. В Кремле сидят не тухлятки, сообщают, что к чему, не дурнее нас. Не может того быть, чтобы они просчитались. Просто эта задумка пока что не раскрыта. Посмеивался начальник над нашей глупостью. У него всегда хиханьки, то ли успокаивает, то ли сам верит.

Нас ведь как воспитали — ошибок там, наверху, не бывает. И не может быть. Потому что никогда за все годы не было. Безошибочная жизнь шла. На это Римма ему вкатила — что обычно люди учатся на ошибках, если ошибок нет, то и остаются неучами. Начальник тут посерьезнел, кто это неучи, кого она имеет в виду? Вцепился, как клещ. Она не умела себя сдерживать. Ей доставляло удовольствие правду-матку выдать. «За ней не заржавеет», — определила моя мать. Мне это нравилось. Пока она не взялась за меня. Выяснилось: есть возможность вернуться на завод. Эвакуироваться с ним в Челябинск, завод имеет право отозвать несколько своих инженеров из армии.

Выражение «есть возможность» меня оцарапало. Будто я ждал, как бы вырваться из армии. Может, она так считала, но говорить так не надо было.

С какой стати мне возвращаться на завод, так трудно было отпроситься, и нате, явился, испугался, думал в солдатики поиграть, а

как пришлось настоящей войны хлебнуть, так хвост поджал и бегом назад.

С этого началась наша схватка. Она настаивала — что меня останавливает? Сейчас танки — решающее оружие. На заводе он больше сделает, чем на фронте. Подумаешь, сержант! Такого добра хватает. Дослужился. На этой войне ему не добраться до офицера. Она посмотрелась на траурные списки ополченцев, каждый день вывешивают в цехах.

Его война была для нее сплошным бегством. Что он, не набегался? На такой войне героем становятся посмертно. Она не щадила его самолюбия. За что? Ополченцы дрались несмотря ни на что, они заслуживают восхищения, она же видела не подвиг, а позор. Оказывается, все, что он испытал, можно выставить позорищем. Может, она нарочно обижала его, хотела понять, почему он отказывается. Допустим, он останется в армии, допустим, уцелеет, и во что превратится его инженерство? Поднабраться он не успел, останется дипломированным неучем.

Логика ее была беспощадна.

Пошел дождь. Тротуар сразу заблестел лужами. Они зашли укрыться в кафе, там не было мест, зашли в переговорный пункт, присели среди ждущих вызова. Сидели, тесно прижатые друг к другу. Ему было приятно чувствовать ее бедро, и это мешало спорить с ней, а ей не мешало.

— Ты не слушаешь меня, — возмутилась она. — Я что, тебе предлагаю стать дезертиром? По-твоему, у нас на заводе все укрываются от армии?

Единственная ее угроза, от которой стиснуло ему сердце: «разлука погубит наши неокрепшие отношения».

Когда он еще вернется, с кем он ее уже застанет?

Так получилось, что у него не нашлось оправданий. «Мы никогда не расстанемся», — когда-то заверял он. «С тобой куда угодно!» — тоже его слова. Она напомнила их, и он вспомнил ту вечеринку у Вадима, они танцевали, и он шептал, шептал без конца, вздох от счастья. Это была клятва, он верил, что так и будет, всегда, ничто не сможет их разлучить. Но ведь то было в другую эпоху, на другой планете. Неужели она не понимает, как далеко зашла война? Судьба Ленинграда, судьба страны — все затрещало, все рушится. В конце

концов, разве они не патриоты, не граждане? Кто мы — дезертиры, что ли?

— Я тебе скажу, кто мы, если ты забыл, — мы муж и жена, — она посмотрела на него с вызовом.

Он принял вызов:

— Как можно в такой тяжелый час так рассуждать! Эгоистка.

### *Жара*

В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета, с земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шпарил еще треск пулеметов, пули взвизгивали о металл, дырявили землю, я молился, обещал Боженьке верить в него, всегда и везде, ничего другого я не имел и протягивал ему свой жалкий дар.

Не стоит осуждать меня, я ничего постыдного не совершил, но в моей жизни эти минуты запомнились презрением к себе, я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня. Тогда, на станции Батецкой, вся моя двадцатилетняя жизнь стала вдруг небывшей, от нее осталось лишь то, что не состоялось, неосуществленность.

А я думал, что воевать будет легко. В Летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти, кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная, ничего не успел, а меня уже превратили в ничтожество, ничего не осталось, никаких иллюзий, мечтаний, планов, все сторело. И мое самомнение... Передо мной всегда будет смрад моей трусости. Война воняет мочой.

— Вста-а-ать!..

Меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии.

Губы мои дрожали, по грязному лицу текли слезы.

— Ну что? Живем? — сказал Подрезов.

И оттого, что он сказал это дружески, участливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве: я весь сотрясался, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал.

— Молчать! — крикнул ротный и со всего размаха влепил мне затрещину.

— Товарищ командир! — Подрезов покачал головой.

— Что с ними делать? Что? — закричал Авдеев. — Возись, твою мать! Дерьмо и сопли! На что мне такие? — Он закрыл глаза, задышал глубоко.

Подрезов, высокий, костлявый, приобнял меня, заговорил глухим мерным голосом:

— Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался, тоже ведь впервые.

Обыкновенные слова, запах свежей гимнастерки и свежей кожаной портупей успокаивали.

— Вы на ротного не обижайтесь. У него четверых убило. Ему роту собирать надо.

Небо, украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно неповрежденное небо. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи, но летний полдень возвращался к своим делам. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать, привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяется, будто ничего не случилось, как женщина — губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день — он обновился, и в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же:

— Ой, возьмите меня! Возьмите меня!

Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним, не отпуская.

— Я не трус, вот увидите. — Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева. Первое, что я получил на войне... Где наши самолеты? Хоть бы один! Шинельная скатка, вещмешок, ремень брезентовый — все перекрутилось, рубаша вылезла, счастье, что я себя не видел, никогда бы не мог забыть это жалкое зрелище. И как я тащился за Подрезовым, лепеча свои оправдания. Дойдя до машины, Подрезов остановился, его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня, они требовали ответа — откуда немец знал о прибытии эшелона, ведь знал, знал минута в минуту!

— Следили, может, по воздуху, — сказал Подрезов.

— Предатели — вот откуда! Ясное дело. Шпионы... Сколько перестреляли, все мало.

Никто не сомневался: враги народа, измена — понятия известные, ярость повернулась и на органы, — говнюки, каратели, сажали, казнили, а что толку? Не тех стреляли.

— Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят! — По имени-отчеству было привычнее.

На заводе все знали его историю: как посадили в тридцать седьмом, как хлопотали за него, председателя завкома, настойчиво, не считаясь с запретами, и добились — его освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то ли желая доказать (кому? что? — в те дни это понимали), то ли полагая, что в ополчении он нужнее, дивизии-то фактически еще не было, был порыв, гнев, желание проучить немца.

Ему они могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, а на деле все — брехня!

Отмолчав, Подрезов спросил:

— Будем шпионов искать или будем воевать?

Предательства не отрицал — да, врал, да, обманывали.

— Ничего, разберемся. Сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков, надо драться тем, что есть, — кулаками, зубами, выхода нет. Одолеем, если не оробеем.

Он медленно прошелся взглядом по лицам.

— Другие предложения есть?.. Нет. Вот то-то и оно.

Сел в машину и уехал.

Убитых оказалось немного. Хоронили в братской могиле. По-быстрому — один ров на всех. Туда же — двух железнодорожников. Воткнули жердину, прибили к ней доску. Писать поручили мне.

«Пали в боях за Родину. 1941. Июль. 1 ДНО», и фамилии.

Каких боях, думал я, слюнявя химический карандаш.

В могилу положили чью-то ногу. Оторванную ногу нашли на платформе. Говорили, что это Христофорова, плановика из мартена, его самого не нашли.

Весь день шли проселками сквозь густую желтую пыль. Командиры подгоняли, не говорили, куда идем. Вокруг расстилались поля клевера, серебрился овес. Травы зрели, окутанные сладко-пахучей жарой, лениво шевелились.

Рядом со мной Витя Трубников, инженер из транспортного. Захлебываясь, повторял, как рухнула на него железная крыша. Черничные глазки его безумно блестели. Снова показывал вещмешок, пробитый осколком.

Привала не было. Гимнастерка липла, мокрая от пота. Я задышался. Скатка тяжелела. Пить не позволяли. Стали выбрасывать противогазы. Оставляли только брезентовые сумки. После полудня я выбросил пухлый свитер. В мешке у меня лежали пачка сахара, банки консервов, торбочка с лекарствами, собранная матерью, бритва, нож, кружка, мыло, трусы, фляга, носки, две книги стихов... С каждым часом это имущество тянуло сильнее к земле.

Ночи настоящей не было, она не принесла прохлады. Наутро стало еще жарче. Трубников вышел из строя, повалился на откос, стащил ботинок, нога была растерта до крови. Я высмотрел подорожник, облепил Трубникову пятку. К нам подсел Новосильцев, журналист многотиражки, перемотать портянки. Никак у него не получалось. Я обмотал ему одну, а потом вторую ногу, чтоб без морщинок, разглаживал пятки, подошву, как когда-то делал мне отец.

— Ловко ты, — сказал Новосильцев, — точно чулок. Вот чему надо было учить, а то — все на политчас! Мудаки! Господи, всему верили.

Колонна растягивалась, ползла, оставляя за собой длинный хвост пыли. Ничего не стоило расстрелять ее сверху.

Адова жарщица никак не подходила на обычное наше северное лето. Погода и та ополчилась на нас. Чтобы прилечь на песчаную обочину, приходилось расстилать шинель, так все раскалилось... Пыль и та была горячей. Она забивалась в нас, мы выплевывали ее длинным, горьким плевком.

Ротный подбадривал: молодые должны пример показывать, запели бы походную, что-нибудь боевое. Вдруг Трубников запел, тоненько, с вызовом:

*День-ночь, день-ночь мы идем по Африке,  
День-ночь, день-ночь все по той же Африке.  
И только пыль, пыль от шагающих сапог.  
И отдыха нет на войне солдату.*

— Что за песня? — спросил Авдеев. — Такой не знаю.

— Это Киплинг, — сказал я.

Про Киплинга Авдеев не слышал, Новосильцев охотно пояснил: певец английского империализма.

— При чем тут империализм? — сказал я. — Ты «Маугли» читал?

— Чего там дальше? Давай пой, — сказал ротный.

Дальше Трубников не помнил, а я, удивляясь своей памяти, стал читать хрипло, запершенным голосом:

*Я шел сквозь ад шесть недель. И я клянусь:  
Там нет ни тьмы, ни жаровен, ни чертей,  
Но только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.  
И отдыха нет на войне солдату.*

Когда ж это было, полвека назад, думалось мне, и ничего не изменилось, та же пыль, та же солдатчина.

— Отдыха нет, это верно, — сказал Авдеев, — война у всех одинакова.

Значит, и Авдеев думал о том же.

Когда Авдеев ушел вперед, Новосильцев сказал Трубникову, что английский империализм тоже воюет и, между прочим, против немцев.

— Может, ты объяснишь такой поворот? — спросил он у меня.

Мой друг, можешь ты меня не ждать... — отвечал я в такт своим шагам. —

*Я забыл здесь, как зовут родную мать.  
Здесь только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.  
И отдыха нет на войне солдату.*

Деревня называлась Самокража. Странное это название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей, командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась, рыли ее так и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти. Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало, ротный заставлял копать хоть ложками. Новосильцев смотался в деревню, принес несколько больших лопат. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса, откуда силы брались. Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь.

К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курево, выменивали на водку остатки своего оружия. Солдат, у которого я за махру сторговал семизарядную винтовку, сунул мои три желтенькие пачки в сумку, набитую морковкой, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. Тут же бесцеремонно заглянул мне в вещмешок, цапнул оттуда синюю жестянку, открыл, расхохотался: зубной порошок! Я покраснел, вспомнив свою привычку

чистить утром зубы. В отместку я принялся с ехидцей спрашивать, как они, кадровые, драпали, — от самой границы ? Оказывается, красноармеец и немцев по-настоящему не видел. Вояки! Слушая его, я исполнился пренебрежением к его кадровой бригаде, ныне скорее похожей на толпу беженцев, кожаные свои ремни, и те они сменили на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик.

Солдат закрутил махру в длинную сигарку, поджег, блаженно затянулся и пояснил по-отечески, что невозможно воевать без отступа, соображение, которое не приходило мне в голову. «Ни шагу назад» — только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя, бежать — он догонит, он на машинах, с ним маневр необходим, в маневре надо где зацепиться, где в сторонке схорониться, можно и поспешать, только чтобы своих не терять.

— Оружие мы не побросали, видишь, вашего брата обеспечили...

Ополченцы обзавелись гранатами, выменяли пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог.

Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают? «На переформирование, убыль большая». Выходит, теперь весь удар примет на себя ополчение.

Вечером ротный ходил по взводам, повторяя, что вся надежда на нас, впереди никого. Я не преминул спросить: как так? «Красная Армия всех сильнее», так пусть же Красная сжимает властно свой штык...

— Спеть все можно, — сказал Авдеев, — кончай подъелдыкивать.

Сам ротный приобрел пистолет, кое у кого появились автоматы и даже один превосходный бинокль, который был реквизирован для командира полка.

Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала, как будто что-то катилось со всех мест, весь горизонт, вся впереди лежащая даль скрежетала, ухая и рыча, приближалась к ротным порядкам. Там, впереди, еще золотились ржаные поля, стояла роща, скользили тени облаков...

Невидимое сражение близилось, это была война, которую я еще не видел, беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться.

Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали захлеб пулеметным огнем, загибали

все круче, в сторону, не обращая внимания на авдеевскую роту.

«Обходят!» — этот крик покатился по окопам. Я, не целясь, выстрелил. Кто первый побегал — неизвестно, я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона: оказывается, там тянулся неглубокий ров, превращенный в окопы.

Мы пробежали почти километр. Ротный пытался остановить нас, матерился, размахивал гранатой. Заставил вынести два станковых пулемета, главное стрелковое имущество роты. Один пулемет тащил на себе Виктор. Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогло мне, так это то, что так вели себя кругом другие: бежал я вместе со всеми, как и другие, не поднимая головы при бомбежке.

Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: «Под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее подготовленные позиции». От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле, мчался, словно по пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся, смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного за другим. Помнится, передо мной появился начштаба батальона, схватил кого-то за гимнастерку, боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом, и кто-то другой толкнул меня так, что я свалился.

К вечеру выяснилось, что три немецких броневика удалось подорвать, оказывается, третья рота остановила немца, там завязался настоящий бой. Но потом затрещали автоматчики, слух об окружении заставил роту отступить. Отходили, отстреливаясь, у них были ручные пулеметы, а главное, с ними был командир полка майор Семибратов.

### ***Разведчик***

В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. Воевать

мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.

Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.

Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянная затея, но подначил, и мы с ним зашагали в хвосте колонны. Бескончин послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы следуем за ними... Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступить. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швырял. Вперед и по бокам. Немцы никак не разберутся. Суета началась. Раздалась команда. Побросали они свои пулеметы, рацию и бегом. Мы все это в кучу, подожгли. Вернулись, Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он пожалел Чернякова, стал темнить. Мол, сообщил комбату так: «смотря по обстоятельствам, можешь, поддержи, не можешь — отходи». Чтоб его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, "Э все же они с одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя, говорит, давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет — поговорили. Устыдил ты его? А как же, морду набил, искровянил всего так, чтобы закаялся.

Жаль, что мы не видели. При вас, говорит, нельзя, все же командир он, не положено.

Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.

### ***В упор***

Полк отходил. Вообще-то приказано было уйти из деревни на рассвете. В суматохе замешкались, покидали уже под обстрелом. Я тащил на телегу ящик с патронами, когда меня остановил старшина из штаба, приказал бежать на КП первой роты. Связь прервалась, пусть отходят за церковь. А патроны? Хрен с ними, и за винтовкой не успел сбегать, она в телеге осталась, сунул мне свой автомат, толкнул в спину. Я помчался.

Вход в землянку загораживали двое, они смотрели туда, внутрь. Что-то тормознуло меня, я не сразу понял, много позже сообразил, что это было что-то непривычное. Их задницы, обтянутые не нашими

синими галифе, и не защитный цвет наших брюк, то было СИЗОЕ! Никогда еще мысль не работала так быстро, это была даже не работа, это вспыхнуло одновременно с мгновенным движением руки к затвору и нажатием крючка. Автомат затрясся, очередь веером в обе задницы, я жал, не отпуская, шел сплошной поток свинца. Глаз заметил всплески крови, самое начало, вскрик, но это вдогонку. Очередь захлебнулась, я уже несея назад, сквозь горящую деревню по единственной ее прямой улице, перепрыгнул через раненую лошадь, она лежала, дергая ногами, что-то попало еще на дороге. Снаряд ударил в белую церковную колокольню, кирпично-красное облачко — все это всплывало потом, много позже. Я мчался и мчался, гонимый ужасом.

Я догнал своих далеко за деревней. Прислонился к дереву. Стало тошнить. Вывернуло наизнанку, был весь в поту, меня трясло и трясло, никак не мог унять дрожь. Кое-как добрался до старшины, доложил про немцев. То, что они там, ничего другого у меня не получалось.

— На машинах? — спросил старшина.

Он не замечал, что со мной, повел к ротному. Меня стали спрашивать, с какой стороны двигались в деревню немцы, на чем, сколько их. Что-то я бормотал, добиться от меня ничего не могли. Про тех двоих, то, что там было, я ни слова не сказал. Я никому не признался, старался не вспоминать. Почему?

На нашем фронте главной обязанностью было убивать. У нас работали снайперы, и у немцев они работали. Мы знали их время обеда, завтрака и палили туда из минометов и прочего оружия. В оптический прицел иногда попадало лицо немца. Он не знал, что угодил в перекрестье и сейчас в него полетит пуля. Однажды я увидел старого немца с бородой. Не положенной ни у них, ни у нас. Я не стал стрелять в него. Мы иногда толком не знали, попали или нет, убили, ранили, промахнулись. Немец исчезал в окопе, примерно как в тире падают фигурки. Крики к нам почти не доносились. Однако происходило знакомство. Мы узнавали — они перешли на зимнюю форму, они поют песни — чего-то они празднуют. Бывало, ветер приносил запах жареного мяса. Мы знали, куда они ходят за водой. Летом они нахально вешали сушиться над окопами выстиранные трусы и подштанники...

— Вам пришлось стрелять в немцев в упор?

— Вы убивали на войне, так — лицом к лицу?

— Были у вас рукопашные схватки?

Всем хотелось про ту войну, которую показывали в кино, как она на самом деле. За все послевоенные годы я ни разу не рассказал об этой сцене в деревне Петровке, кажется, так она звалась. Не вникал. Откуда был тот ужас? Ведь я воевал уже два месяца. Стрелял много, след был на плече, из пулемета и миномета стрелял. Рассказывал об этом преспокойно, не отказывался, на то и война, чтобы стрелять. И в Германии, на встречах с немцами, не отказывался.

Первые послевоенные годы мне снилось, как я бегу, белая церковь под синим, свистящим от пуль небом, и бегу, бегу. Снился ужас, два зада, мягкий толчок, с каким входили в мясо пули... Просыпался в поту. Мои танки уже не снились. Потом и этот ужас перестал сниться.

### *Подрезов*

Вечером меня вызвал к себе комиссар полка расспросить подробности гибели Подрезова. Присутствовал маленький капитан неизвестно какой должности. Слушая мой рассказ, он недоверчиво хмыкал, морщился. Стал допытываться, откуда известно, что Подрезов погиб, может, он был ранен и, раненый, попал в плен к немцам.

— Могло такое быть? Где гарантия, ты что, видел труп? Видел? Я тебя спрашиваю про труп, мало ли, что упал.

Последнее, что я видел, это как Подрезов стоял во весь рост в окопе, стрелял и матерился. Выжить он не мог, он был отличной мишенью, рослый, стоял один во весь рост, по пояс открытой мишенью, да он и не хотел жить, это я знаю точно, ему обрыдла такая война, бегство, постыдная война. Но капитана интересовало прежде всего, убит ли Подрезов, если убит, тогда все прекрасно, тогда можно считать, что он совершил героический подвиг, вел себя достойно, а если не убит, то... Он ведь сидел как враг народа, немцев это вполне могло устраивать.

Они оба записывали в блокнотах карандашами с латунными наконечниками. Капитан писал мелкими печатными буквами, ставил вопросительные знаки в скобках. Кроме меня, никто свидетельствовать о последних минутах Подрезова не мог, тем более о его последних словах. Понимаю ли я, какую ответственность беру на себя, снова спрашивал капитан. Комиссар хотел уточнить порядок слов Подрезова

— «Хватит», или он сперва сказал: «Ни шагу назад», а сказал ли он «Стоять насмерть»? Они обсуждали, что написать в донесении, у капитана были сомнения, есть ли гарантия окончательной гибели Подрезова.

Если бы он был убит, то труп немцы оставили бы в окопе, зачем он им, так ведь туда не проберешься. Они попросили меня написать вкратце обстоятельства гибели, но это не решало вопрос. Их останавливало, может, он был ранен, тяжело ранен. Они не понимали, что, если человек, особенно такой рослый, как Подрезов, стоит во весь рост по пояс в окопе, и в него несутся автоматные очереди, ему не остаться живым. Для нас, окопников, это очевидно, но я не мог засвидетельствовать его смерти, и они, хоть и штабные люди, понимали это.

Для меня было ясно, что комиссар видит в поступке Подрезова героизм и хочет представить его, не знаю, может быть, к посмертной награде, а капитан из армейской газеты не уверен, его мучает «а вдруг». Они долго рассуждали об этом, я тоже чего-то говорил, а потом капитан обратился ко мне:

— Вот ты считаешь, что он с отчаяния так поступил, чуть ли не на самоубийство напросился, так ведь?

— Да.

Капитан призадумался.

— Тогда выходит, тоже недостойно командира, тем более политработника. В чем тут подвиг?

— В том подвиг, — сказал комиссар, — что он выполнил приказ «Ни шагу назад». Жестокий пример, но пример для всех, надоело отступать, я его понимаю.

— Если следовать такому примеру — без командиров останемся.

Капитан говорил опечаленно, и я понимал его, мне было жаль, что мы лишились Подрезова.

Они еще раз обратились ко мне, и я тогда произнес речь, как на торжественной панихиде, в защиту Подрезова:

— Может, и самоубийство. Но он стрелял до конца! Самоубийца в себя стреляет. А вы знаете, что было, — вдруг вспомнил я, — Подрезов наганом пытался остановить бегущих. Потом взял ручник, спустился в окоп, и я видел, как он прилачился на бруствере в окопе и стрелял оттуда. Не самоубийство, а вызов. А когда он останавливал

солдат, угрожал им наганом, так кто-то замахнулся на него кулаком и ударил по руке, это я сейчас вспомнил.

Боюсь, что я не вспомнил, а придумал, все же он был для меня героем, я не мог допустить, чтобы гибель его прошла незамеченной. Я подумал, что, когда он не мог нас остановить, то единственное, что он мог сделать, это остаться, чтоб мы все знали, что мы его покинули. Может быть, он надеялся, что мы вернемся из-за этого, а мы не вернулись, бежали, бежали.

— Э, нет, мы про это не можем, — сказал комиссар. — Зачем уж так выставлять наших людей. Если уж отмечать Подрезова, надо его самого, а не позорить наших.

Комиссар говорил и все время что-то писал у себя в блокноте.

Они велели подождать. Я дремал у них в коридоре, томился до вечера, правда, меня два раза накормили. Вечером капитан принес на четырех листках свой очерк. Машинистка уже перепечатала. Там было красивое описание гибели Подрезова. Написано было немножко казенно, мне хотелось кое-что подправить, но это было не по чину. В общем очерк был добрым словом в память Подрезова, ничего не скажешь. Кое-что преувеличено было, все эти слова «Ни шагу назад», «Стоять насмерть» капитан приписал Подрезову так, будто он выкрикивал их. Хотел остановить любой ценой.

— Кого остановить? — спросил я.

— Немцев, конечно.

— Думаю, что наших, — сказал я.

— Ты так считаешь? — он по-новому посмотрел на меня. — А что... Это поворот... Может, так и было, разве узнать, только политически не совпадает. Согласен?

Согласился, куда деваться. Наверное, он был прав, они врут для пользы дела, чтобы воодушевить. Я заодно с ними, соучастник этого вранья. Через два дня очерк появился в армейской газете. Чего-то там еще подправили, получился этакий богатырь из народных сказок. Про меня упомянули, наверняка меня это примирило, потому что я вырезал очерк и послал его Римме. Хотел, значит, похвалиться.

Жаль Подрезова, никто не узнает, что на самом деле он не про героизм думал, скорее про свое достоинство. Свое собственное, для себя, я никогда раньше не думал, что у человека есть внутри кто-то, кто его или уважает или не уважает.

## *Смерть интенданта*

Почти две недели августа нам удалось продержаться на Лужском рубеже. Мы вцепились в землю на правом берегу Луги, и немцы не могла нас сдвинуть ни танками, ни артиллерией. До этого, начиная со станции Батецкой, мы отступали. Так прошел июль 1941 года. Наши отступали на всех фронтах. Драпали, бросали пушки, пулеметы, снаряды, машины. Стояла жара. Отступление было обозначено пожарами, вздувшимися трупами лошадей и солдат. Короче — вонью. Поражение это смрад. Одежда, волосы — все пропитано едкой гарью, смрадом гниющей человечины и конины. Отступать Красную Армию не учили. Так, чтобы отойти до того, как тебя окружили, увезти орудия, спасти матчасть. Арьергардные бои, второй эшелон, запасные позиции — ничего такого толком не умели и знать не полагалось. Нам полагалось воевать на чужой земле, двигаться только вперед, только наступать. Армия наша была машиной без заднего хода.

Но в истории того мучительно стыдного лета, первого лета войны, движение немецких колонн наткнулось на непредвиденное. Не имеющие танков, авиации, тяжелой артиллерии солдаты, казалось бы, уstraшенные, раздавленные немецким превосходством, вдруг поднимались из земли, рушили блестяще продуманный, отлаженный ход бронированных колонн вермахта. И то, что так случилось под деревней Уномер, посреди общего драпа, воодушевляло нас.

Где-то посреди августа пришлось все же покинуть Лужские укрепления. Он нашего полка осталось сотни полторы, может меньше. Укрепления были отличные. Когда их успели сделать, не знаю. Окопы в полный профиль обшиты досками. С пулеметными гнездами. Землянки в три-четыре наката. Эти укрепления сберегли нам много жизней. Потом оказалось, что того, кто их построил, генерала Пядышева, отдали под трибунал и расстреляли. По приказу Сталина. Тогда расстреляли несколько высших командиров. Всех ни за что. Для устрашения, что ли?

Мы бы, наверное, еще могли продержаться несколько дней, если б не угроза окружения. Она стала явной, и полки получили приказ отходить. Каждый самостоятельно, своим путем. Четыре дня шли глухими проселками. Густая пыль клубилась за нами. В знойном мареве тянулись ослабелые от голода и жары.

К полудню показалась деревня. Приказано было свернуть к ней, там подхарчиться, передохнуть. Как все дальше произошло — не знаю. Может, разведчики не опросили деревенских. Мы тогда об этом не беспокоились. У нас был ротный, в голове штабные спецы, комполка. Наше дело солдатское — держись поближе к кухне, подальше от начальства, как учил Алимов. Поскольку кухонь не было, нужно было не теряться. Пока там чухались, кого куда, Саша Ермаков быстро сориентировался. Мы очутились в чисто прибранной избе за столом. На столе горшок сметаны, кислая капуста, огурцы. Мы уже отряхнулись от пыли, выставили на стол свою заварку, единственный наш продукт. Хозяйка резала хлеб. Не помню ее лица, помню ее руку, длинные полумесяцем ломти с блестящей коркой и горшок в зеленых цветочках, полный желто-белой сметаны. Заглянул ротный.

— Пристроились? Вот это скорость, — сказал он. — Ладно, заправляйтесь и ко мне. Я напротив. — Он вздохнул, — вы, ребята, того... брюхо пожалейте. Потом замаетесь по кустам бегамши.

Мы только промычали. Такой у нас был штатский разговор. Мы в ополчении были с одного завода, и ротный был мастер с прокатки, хороший мастер, может, за это его ротным и поставили. Других показателей не было. Больше я ничего не вспоминаю, я клал сметану на хлеб, сыпал солью прямо в рот, облизывал деревянную ложку. Ни о чем я в те минуты не думал, иначе бы обязательно запомнил. Когда что-то случается, память сохраняет не только сам случай, но и то, что было до него. Зачем-то задняя память срабатывает. Мы ни о чем не говорили, были слишком голодны, мы ели до этого лишь то, что росло у дороги. Чернику, овес, сырые грибы, щавель. У самой избы вдруг застрекотал пулемет. Послышался еще один подальше и тархтение мотоцикла.

— Немцы! — крикнула хозяйка.

Какую-то секунду мы еще оставались за столом с набитыми ртами, пока соображали, что у нас в полку нет мотоциклов, не осталось пулеметов.

Саша рванул в сени и тотчас выскочил обратно.

— На огород давайте!

Окно кухни, где мы сидели, выходило на огород.

— Вы уж простите, хозяйюшка, — сказал Саша и высадил прикладом раму.



Я выпрыгнул за ним, пригибаясь, мы побежали вниз между гряд. Воздух вопил, прошитый пулями, мы прыгнули в ботву, перевернулись. Огород спускался к речке. Мы лежали на косогоре и видели деревню, вытянутую по гребню. Над нами, в просвете между избами, стоял зеленый мотоцикл. Немец сидел в коляске и лупил по нам из ручного пулемета. Удобно сидел. По улице ползли броневики и стреляли во все стороны. Носились мотоциклетки, там тоже удобно сидели немцы. Впервые мы видели их так близко. Саша клацнул

затвором, выстрелил в пулеметчика. Но, может, не в него, а просто выстрелил туда, но выстрелил, и от этого я перестал разглядывать немца и тоже поднял винтовку, приспособился за шестом огородного пугала и стал стрелять. Пугало надо мной махало рукавами дурацкого клетчатого пиджака, кепка с него слетела простреленная, а оно все махало и махало, отбиваясь от пуль. Саша чуть приподнялся, достал гранату, швырнул ее. Это была ерундовая, маленькая граната РГ, но мотоцикл отъехал за избу, пулемет умолк. Мы покатались вниз по склону, нырнули в ивняк, перемахнули через ручей, побежали к лесу. Сперва мелколесье, дальше лес, редкий, болотистый, но все же лес.

Где-то на сушняке мы свалились. Я отдышался, показал Саше сумку противогазную. Ее пробил в двух местах. Противогаз мы давно выбросили. В сумке лежали гранаты и хлеб. Тот, что мы только что ели. Как я успел его туда сунуть — неизвестно. Появилась солдатская привычка.

— А могли бы взорваться, — сказал я, и мы захохотали. Долго хохотали.

— Здорово мы их шуганули, — сказал я. Сколько ты выстрелил? Я четыре раза.

Впервые я стрелял без команды. Впрочем, был до этого случай, когда-нибудь расскажу.

— А где твоя шинель? — спросил Саша.

Скатка осталась в избе. Я до того расстроился, что хотел вернуться за ней. Еле меня Саша удержал. Все настроение у меня испортилось. Попадет из-за нее. И как воевать без шинели.

Сухой мох потрескивал под ногами. Первым, кого мы встретили из наших, был Алим, потом Мерзон с Трубниковым. Подобрали еще двоих.

На брусничной поляне увидели военного. Сидел на пне, фуражка у ног. Незнакомый, но завод наш большой, всех не узнаешь. Редкие седые волосы потно слиплись. В малиновых петличках у него была шпала и значок интенданта. Мы обрадовались, бросились к нему. Он не пошевелился. Сидел, смотря мимо нас. Спросили его: «Где наши?» Он пожал плечами.

— Нет полка, — сказал он. — Разбежались. Все... Конец.

— Как же так, — несогласно сказал Саша. — Это же полк. Штаб и наш ротный Леонид Семенович.

— У меня его помазок, — сказал я.

Взгляд интенданта был обращен внутрь, что-то он рассматривал внутри себя. Мы ждали. Он был командир, хоть интендант, но все же командир, видать, кадровый.

Из деревни по лесу начали стрелять минометы.

— Боже ты мой, — сказал интендант, — такая армия, и что?

Он вытащил из кобуры наган, рука его дрожала.

— Товарищи, помогите мне.

— Вы что, ранены? — спросил Мерзон.

Он покачал головой и сказал самым обыкновенным голосом:

— Пристрелите меня, пожалуйста.

— За что?.. Как так?.. Пойдемте.

— Не могу, — сказал он. — Сердце.

— Мы поведем, — сказал Саша.

— Нет. Сил нет... Не хочу.

Саша отступил.

— Есть приказ, — голос интенданта окреп. — Живым в плен не сдаваться, знаете?.. Документы я закопал.

— Мы вас понесем, — сказал я.

Саша смотрел на болотистый кочкарник, который тянулся неведь куда.

— Исполняйте, ополченцы, — сказал интендант с тоской.

Несколько раз в войну, в отчаянные минуты мне вспоминался этот интендант. Все лучше я понимал его тоску. Ведь был же полк, были офицеры, почему не выставили охранения, дозоров, как нас могли застать врасплох, почему мы могли разбежаться из-за нескольких паршивых мотоциклов? Почему мы так глупо воюем? Но тогда мы ничего не понимали.

— Едут, — сказал интендант, прислушиваясь. Ревели моторы, невдалеке была дорога, по ней ехала бронемашина.

— Ну, так как? — сказал интендант.

— Нет, — сказал Ермаков. — Сам управляйся, — и пошел прочь.

— Стой, — интендант поднял наган, направил на Ермакова. — Приказываю!

— В своих, значит, можешь, — сказал Трубников, — оно привычней, мать твою.

Хорошо, что выматерился. Нам стало легче. И мы пошли в лес. Так, чтобы солнце было справа, наш компас.

Самым трудным были болота. С трясинами, огромные, торфяные, непроходимые. Ермаков был такой грузный, что кочки не держали его.

Надо было вытягивать его, тащили за ремень, протягивали жердину. Измученные, потом лежали в дурманном багульнике.

### ***Молоко на траве***

Нас осталось пятеро. Алимов, мы его звали Алим, еще хромот, раненный в ногу. Мы по очереди помогали ему идти. Оно было бы ничего, если бы Ермаков не проваливался. А путь наш лежал через болота, и мы часто останавливались и тащили Ермакова. Отобрали у него махорку, чтобы не промокла. Курили, заглушая аппетит.

— Это парадокс: ничего не жрет, а такая туша, — злился Мерзон.  
— Почему ты не худеешь?

— Бросьте вы меня, — ныл Ермаков. — Не могу я больше.

— Надо было сказать это раньше, тогда б мы тебя не тащили.

Лежать долго было нельзя: кружилась голова от дурманного запаха болотных трав. Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовки.

Хорошо, что ночи стояли светлые. Мы шли и ночью. На четвертую ночь выбрались в сухой березняк, и увидели огни, и слышали голоса. Голоса были женские. Мы подошли ближе. Сперва нам показалось, что это табор. Стояли телеги, плакали ребятишки. Говорили по-русски. Это были погорельцы. Бабы и старики.

Когда мы вышли на свет костра, женщины испугались. Мы стали совсем страшные на этих болотах, волосы в тине, гимнастерки, штаны — бурые от ржавой воды. Морды заросшие. Только винтовки мы держали в порядке — мы обматывали их тряпками, поднимали над головой, когда лезли в трясину.

Понастроили шалашей, загон сделали для свиней. Поставили навесы, там висела одежка, на сучковатых палках сапоги. Жили, наперед не заглядывая. На столбике под козырьком две иконы.

Костры разводили в ямах. Рассказывали про свое житие. Как запасали картошку, собирали морковь, молодую свеклу.

Все собаки с деревни пришли с ними. Умницы, лаять перестали, рычат, а голоса не подают.

Я сидел между двух женщин, одна кругленькая, больше ротая, хохотливая, другая посерьезней, обе черноволосые. Сидели на краю ямы, костер обгорал от углей, поднималось тепло, дымок, домашний запах печеного хлеба, на железном листе пекли лепешки. Нас быстро сморило. Уложили меня в шалаше на сеннике, набитом соломой. С подушкой. Над головой тикали ходики. Невесть как спасенные. Под этот довоенный звук я заснул блаженным уютным сном.

Разбудило меня чье-то прикосновение. Шепотом горячо дыша над ухом, мне говорила что-то хорошее, прижималась, гладила под рубахой. Почти наверняка, я принял это за сон, одно из прежних юношеских видений. Я не собирался выходить из этого сладкого полусна, но она добила своего. Горячее ее тело забилося, руки силой повернули к себе, так что не вырваться, да я и не пытался, мне нравилось, как она хозяйничала надо мной, шопотно командовала, неслышно вскрикивала, неслышно смеялась. Я все еще играл с собой в сон, но тело брало свое. «Господи, какое счастье, — твердила она. — Мы бы с тобой каждую ночь...» Я позволял ей хозяйничать, она мечтала, чтоб я остался. Не просила, мечтала.

— Ты молоденький, зачем тебе гибнуть за эту проклятую власть?

Я плохо слушал, а оказывается, она говорила, как ее брата раскулачили, выслали, их тоже грозились, объявили подкулачниками, хорошо, война помешала, мужа демобилизовали, и уже пришла похоронка. Слова ее насчет власти поразили меня, такая в них была убежденность. У нее был свой счет, у меня тоже должен бы быть, но такого не было. Засыпая, я видел, как я колю дрова, не существует ни старшины, ни полка, может, и Ленинграда нет.

Русские ополчения, их ведь собирали из крепостных, а я вольноопределяющийся, так их называли, я по своей воле пошел. Какое счастливое слово: «воля».

Она гладила меня, руки у нее были шершавые, грубые, зато тело нежное и крепкое и пахло оно, как этот шалаш — хвоя, березовый лист.

Наутро долго собирались. Накормили лепешкой, напоили малиновым чаем. Кормил дед, рассказывал, что коров от обстрела увели в лес, куда они теперь подевались, шут их знает, если б деревня

уцелела, они бы сами вернулись, пастушонок, видно, сбежал. Надо печки складывать, ночи холодные пойдут, в шалашах не прозимовать. Придется землянки рыть, как на фронте.

В деревню не вернуться, там пепелище, да и стоит она у шоссе, от немца не укрыться. Я спросил его, на сколько он рассчитывает, сколько война продлится? Долго, считал он, столько земель надо вернуть. Наотдавали-то быстро.

Был август сорок первого года. Я ни разу еще не подумал о том, сколько может продлиться война. Даже в голову не приходило. И никто у нас тогда не задумывался. Мы никогда не говорили об этом. А эти бабы думали. Они знали, что придется зимовать и надо сложить печи и приготовиться к зиме. Я слушал их и впервые задумался, что же будет с ними и со всеми нами зимой.

— А вы куда идете? Может, в Питере немцы, — сказала старуха.

— Не знаю, — ответил я. — Может быть. Только все равно нам надо идти.

— А то остались бы. Помогли бы нам печи сладить.

— Нет, — отказался я, — нам надо идти. Винтовка где моя?

— Я запрятала, — сказала дочь.

— Надо женщинам помочь, — сказал Мерзон, — И тэ пэ.

— Сил поднабраться, — сказал Трубников.

— Что, у нас увольнительная кончается, что ли?

— А где Ермаков? — спросил я.

— Ермаков влюбился и чинит ей самовар, — сказал Трубников.

— Может, им дров наколоть, — сказал Мерзон.

Я подозрительно взглянул на него, будто он подсмотрел мой сон.

Появился дед, они с Алимовым ходили искать коров и не нашли.

— Может, немец угнал... или порезал. Без коров плохо.

День был туманный, тихий. Где-то скребли сковороду, звякала посуда, рукомойник. Тут было семей с десятков, то, что осталось от колхоза. Висело белье. Мать качала подвешенное вместо люльки корыто с ребенком.

Ермакова мы нашли под телегой. Он лежал, положив голову на живот красивой бабе в тельняшке. Рядом дымил самовар. На траве лежали чашки, пахло самогоном.

— Вот, Таисья, наш ИТээР появился, — сказал он. — Что означает «инженерно-технический работник»? А мы с тобой тут разлагаемся.

Но выхода нет.

Он хотел встать и не мог.

— Выпили ничего, — сказала Таисья, — видать, ослаб.

— Илья! — позвал Ермаков. Из-за кустов вышел парень с перевязанной рукой. Поздоровался.

— Раненый?

— Было дело.

— Дезертир?

— Вроде тебя, — огрызнулся он. — Мне в госпиталь надо.

— И топал бы, — вмешался Трубников. — Там тебе либо отрубят, либо вылечат и вернут в ряды защитников. Тут, конечно, лафа. Обслуживай геройский тыл.

Илья рассмеялся. Он не хотел ссориться, он хотел, чтоб и мы тоже остались. Он уже побывал в окружении, потом его крепко помытарили особисты, и тут, под Островом, их опять чисто разбили, вот он и плутает, ищет партизан.

Вмешался дед, сказал, что ежели нам идти, то сейчас, пока туман не согнало. Ермаков простонал:

— Эх, дед, что ты с нами делаешь. Встал, держась за телегу, побрел куда-то.

— Похудел наш Ермак, — сказал Мерзон. — За одну ночь похудел. Вот что может страсть.

Ермаков вернулся, неся винтовки, завернутые в рогожу.

В железном чайнике у Таисьи был самогон. Все отпивали по глотку, только Илья приложился надолго. Вытер рот, заговорил, хмелея на глазах:

— Пролетариат! Бросаете колхозников на произвол. Это как?

Мы разобрали винтовки.

— Я бы лично остался, — сказал Трубников.

Да и я бы остался. Хоть на недельку. Подкормиться. Избавиться от вшей. Ноги болят. И Мерзон бы остался.

Илья протянул Трубникову чайник:

— Раз остаешься, можно.

— Нам сейчас много не надо, — сказал Трубников.

— Адреса у тебя нет, Таисья, вот что худо, — сказал Ермаков, — и у меня нет. Какая еще будет полевая почта. Потеряемся мы с тобой, вот то плохо. Он снял пилотку, поклонился.

— Простите нас, дорогие товарищи женщины и дети. А ты, Трубников, и не думай оставаться.

Я подошел к тем двум брюнеткам. Они были похожи, вроде как сестры. Не поймешь, какая из них приходила ко мне ночью.

— Жалко тебя, — сказала та, что постарше.

— Надо Отечество защищать, — сказал я тем комсомольским тоном, какой у меня был тогда.

Я до сих пор слышу тон, с каким я повторял все принятые тогда вразумления.

— Отечество! Интересно, что мы имели с этого Отечества? — вдруг вскипела она. — Голодный трудодень? Раскулачивание? Похоронки? Нам хуже не будет, — злость ее нарастала, — на хрена мне такое Отечество.

Наверняка я что-то возражал, не мог я тогда примириться с таким самомнением. Но при этом обе они были симпатичны. К тому же они дали мне лепешку, завернутую в тряпицу. Лепешка была еще теплая.

Прощаясь, мы тоже поклонились, женщины смотрели на нас сухими глазами, хмуро. Таисья протянула Саше Ермакову его сапоги. Они блестели, смазанные жиром. Ермаков помотал головой:

— Не возьму, — он притопнул босой ногой. — Я привыкший.

— Обуйся, — сказал я, — нам еще топать и топать.

Он упрямо помотал головой.

— Обуй, — повторил я, — Дитя природы. Ермаков обнял меня за плечи.

— Ладно, тогда я им шинель оставлю. Им зимовать.

— А нам воевать.

Мы еще не знали ни про блокаду, ни про страшные морозы первой военной зимы. Прощаясь, они перекрестили нас.

Не дойдя до шоссе, мы пересекли их погорелую деревню. От нее остались русские печи. Они высились, широкие, могучие памятники среди черной выжженной земли. Сохранилась околица — кусок изгороди с воротами, закрытыми на веревочное кольцо.

По шоссе ехали машины с немцами. Солдаты распевали песни. Мы лежали в кустах. Туман еще не сошел, и машины ехали медленно, включив фары. Мы видели их издали и, выждав перерыв, проскочили шоссе. За прудами паслись коровы. Они увидели нас и пошли

навстречу. С десяток коров и молодой бурый бычок. Подошли, мыча и толкаясь.

— Недоенные, — сказал Ермаков, — молоко горит. Страшное дело.

Он потрогал ссохшиеся соски, сходил за водой, из котелка ловко стал обмывать вымя беломордой пеструхи. Корова вздрогнула, замычала, но стояла покорно.

Вскоре мы наладились к дойке. Ермаков, что-то приговаривая, поглаживая, готовил коров к дойке.

— Тихонько оттягивая обеими руками, — учил он, — и по очереди. Сперва доили в котелки, выпивали. Потом куда? Ермаков скомандовал — на землю.

Мы стали доить прямо на землю. Молоко лилось нам на сапоги, на траву. Зеленая щетина торчала из белых парных луж.

— Наверное, это их коровы.

Ермаков предложил отвести им скотину. Мерзон вызвался смотаться в деревню, привести сюда ребяташек. Будет быстрее и надежней.

Опять переплавляться через шоссе, туда и назад, да еще дорога, эта волынка почти до вечера, а в темноте мы через здешние болота идти не можем. Мы обсудили и отказались.

— Жаль, скотинка пропадет. И детишки, — сказал Ермаков.

Он выбрал себе удобную роль жалельщика.

— Знаешь что, раз ты такой страдалец — командуй!

Он руками замахал. Он, видите ли, не способен командовать. Его талант — подчиняться. Исполнять. Он солдат Швейк — будет сделано, рад стараться. Никто из них не рвался в начальство.

Разговор с теми двумя бабами не давал мне покоя. Надо было дать им отпор. Какой? И опровергнуть. Честно говоря, я не мог этого отпора найти. Чтобы сразить.

Поодаль пропел петух. Эта деревня была цела. Стояли серые избы, крытые где дранкой, где соломой. Плетни, песчаная немощеная улица. Все покосилось, обветшало. Наверное, все так же выглядело и сто, и двести лет назад. И при Радищеве. Как он писал: «Я оглянулся окрест, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Кажется, так, Боже мой, я словно заново увидел бедность нашей жизни. Замшелый сруб колодца. Всклооченный стог сена. Ничего не добились ни

революция, ни колхозы, ни раскулачивание. Те две бабы лучше меня понимали несправедливость нашей жизни.

Поле ржи, тощее, в проплешинах. Синие пятна васильков. Показался горелый лес. Голые обугленные стволы. Не поймешь, что здесь было — березы, сосны, а может, ельник. Все черно. Зола шелестит под ногами. Витает невесомая копоть, липнет к потному лицу. Подлесок весь выгорел, лес опустел, засквозил, ни клочка зелени, все черно, мрачно. Верхушки деревьев были снесены снарядами. Лес был убит.

### *Комбриг*

Огромный пламень полыхал над Чудовом, там горела спичечная фабрика. Рядом горело и Грузино — поместье Аракчеева, музей, куда мы ездили прошлым летом.

Первым их заметил Алим — двоих в танковых шлемах. Они сидели за поваленной сосной. Некоторое время мы наблюдали, вроде наши, потом вышли к ним. В нас они сразу признали ополченцев. По синим кавалеристским галифе. В них обрядила всю дивизию какая-то интендантская сволочь.

Танкисты пригласили к себе. Бдительный Мерзон хотел узнать — куда, зачем. Они не настаивали, и мы пошли за ними по еле заметной тропке.

Штабная землянка выглядела комфортной. Стены обшиты досками, нары выстланы овчинами и половиками. Горела лампочка от аккумулятора. Стояла большая рация.

Провели к командиру бригады. Это был майор с ужасным обгорелым лицом. Лиловые щеки в пузырях, торчат клочья черной бороды, глаза голые, без ресниц, вид страшный.

Он расспросил про нашу группу, про полк. Потребовал красноармейские книжки. Узнав, что с Путиловского завода, где делают КВ, подобрел, посадил за стол.

За чаем рассказал, что после сражения у Демьянска от их бригады осталось три машины. Железную дорогу в Ленинград немцы перерезали несколько дней назад. Немецкие моточасти прут на город со всех сторон. Судя по радио, город уже обречен, может, взят. Его

штабники перечислили такие поселки и пригороды: Любань, Тосно, Гатчина, Рождествено, Тайцы...

— Не может быть, — сказал Ермаков. — Врут они все.

— Очень даже может, пока вы по лесу шастали, они уже банкет в «Астории» заказали.

Майор сказал твердо: «Нет больше Ленинграда. Так что придется вам менять маршрут».

Кто-то из штабных вставил, что немцы передали, что они уже в Петергофе.

— Вот и ваш Ленинград накрылся, — заключил майор, — Просрали страну!

Может быть, он был из другого города, и для него Ленинград был всего лишь кружком на карте, кружком побольше других и ничего более. А карта была большая — Украина, Белоруссия, Эстония. Для меня — это был мой город.

— Не верю, — сказал я, — Ленинград никто никогда не брал.

Чтобы на Невском висели флаги со свастикой. Из репродукторов неслись немецкие марши... Невозможно.

— Ишь, опомнися, — с удовольствием сказал майор. — Вы думали, что немец будет ждать, пока вы нагуляетесь.

Ермаков и Мерзон возмутились, но майор гаркнул на них.

Все то, что нам встречалось на пути — пожары, колонны немецких машин, танков, новые дорожные знаки, — все сложилось в единую угрожающую картину. Вслед за Ленинградом — Москва, Донбасс, выход к Волге... Немцы торопились покончить с нами до наступления зимы. В России им было труднее, чем в Европе. Поначалу они к Ленинграду двигались почти по восемьдесят километров в день. Впервые их притормозили наши ополченцы. Это майор признал. Поэтому он терпеливо втолковывал, что немцы к зимней войне не готовы, ни зимнего обмундирования, ни зимней смазки для двигателей. Нельзя дальше ни отступать, ни идти на мировую.

У майора был свой план. Собрать в единую армию всех красноармейцев разбитых частей.

Тысячи их застряли в деревнях, хоронятся в лесах, не знают, куда податься. Он создаст из них регулярные части. Они красноармейцы, а не партизаны. Отступление дало им бесценный опыт.

Нас он зачислит в ударную бригаду. Согласны мы или нет, не вопрос.

Его убежденность завораживала. Призыв будет обязательен. Тех, кто не подчинится, можно считать дезертирами и судить по законам войны.

Он потрясал руками в черных перчатках, видать, тоже обожженные.

Это были уже обстрелянные люди, которые претерпели окружение, бегство, узнали силу немецкого оружия, танковые атаки, автоматные очереди. Из них майор хотел создавать регулярные части, продолжение Красной Армии, развернуть мобилизацию в немецком тылу, отрезать пути снабжения немецких войск. То, что немцы вошли или входят в Ленинград, его не потрясло, Ленинград был еще один взятый ими населенный пункт, всего лишь побольше других. А то, что на Невском развешены флаги со свастикой, что там уже разгуливают немцы, из репродукторов несутся немецкие марши, это лишь эпизод. Война не кончена, начинается новый ее этап.

Чего не хватало нашей армии, допытывался майор, чего не хватало? Ссылаются на технику, на связь, на то, что у немцев автоматы, на то, что у нас танки не те. Все так, да только разве от автоматов, от «юнкерсов» наши драпают? Нет, извините. Заградотряды поставили, мудаки, пулеметами строчили по нам, свои своих косят, они и не понимают, что наделали, как взбаламутили мозги солдатские. Только что с Риббентропом целовались взасос, теперь вдруг требуют: смерть немецким оккупантам! То Черчилль сволочь, буржуй, вместе с Гитлером, то мы против англичан, теперь вдруг они наши союзники. Разве при такой неразберихе можно по-настоящему воевать? Нам ненависть нужна! Идея нужна!

Все же хорошо, когда есть кадровый командир. Трубников одобрительно заявил, что идея правильная, предложение майора — отличный лозунг войны... Но тут майор гаркнул: «У меня не предложение, а приказ!»

Кадровый командир — это вам не начальник цеха.

Нас привели в какое-то подземелье. Кирпичные своды, сырая прохлада. Когда-то тут стоял небольшой монастырь Святого Иона. В тридцатые годы его закрыли, и остались эти развалины.

Накормили горячей кашей с подсолнечным маслом. Ешь от пуза. Еще чай с настоящей заваркой. Побрились, помылись и починились. Лично я распорол голенища, тесны стали. Ноги у меня отекали. Надо было бы винтовку почистить, но в это время пригласили к костру.

Угостили разведенным спиртом, закусь — картошка, вареная морковь, выдали по пачке махорки, еще банку тушенки одну на двоих. Народ сидел вокруг костра, сидели на жердинах, курили. Появилась гармонь, запевал помпотех, голос у него был слабый, но с трогательной душевностью. Особенно защемила меня ихняя танкистская самоделка:

*По танку вдарила болванка,  
Сейчас рванет боекомплект.  
А жить так хочется, ребята,  
А вылезать уж мочи нет.*

Вылезают через десантный люк, как пояснил мне сосед, цыганистого вида механик-водитель, но я и сам помнил по заводу, какая это неудобина.

— Знаешь, чем танкисты отличаются от пехоты? — сказал он. — Несколько секунд или мигнов у нас есть перед тем, как вспыхнет, так что можно увидеть свою смерть.

Подпевали голосисто, с лихостью про то, как вызывают в «особенный отдел», почему, спрашивают, с танком не сгорел, а я им говорю: «Дорогой начальник, в следующей атаке обязательно сгорю».

Рядом со мной сидел молодой заряжающий. Он подпевал и тут же успевал пояснять мне, что покинуть машину можно, лишь испросив приказ полкового начальства, неважно, машина подбита или горит, а без приказа выберешься через люк — и хана тебе. Как вернешься в полк — под расстрел. Машин дизельных мало, сообщил он, больше бензиновых, а они, блядские зажигалки, чуть что — вспых и с концами, вот и горим.

Механик-водитель еще кое-как успеет, продолжал он, а остальные... и он аккуратно сняв у меня с рукава вошь, хрустко раздавил ее ногтями.

— Это ваша пехотная скотина, — подмигнул он, — к нам она не суется, солярка ее душит.

— Не беспокойся, — сказал я, — вы теперь без танков, вошь, она в наступление пойдет.

Я ему одно средство наше рекомендовал: мы раздевались догола и совали в муравейник, там, где черные муравьи, всю одежду совали, получалось вроде вошебойки...

Был еще куплет:

*И будет карточка пылиться  
На полке пожелтелых книг.  
В танкистской форме при медалях  
Тебе я больше не жених.*

Это было мне наглядно, только я на фото у нее без танкистской формы. Все так и сбудется — постоит «на полке пожелтелых книг» в память о первом возлюбленном, пока не сменит чья-то другая фотография, того, другого, Римма и ее поставит. Ничего не поделаешь. Эти ребята-танкисты правильно излагают закон замещения, действует он без всяких поблажек. На этой войне любовь не срабатывает, не под силу.

Ночной ветерок повернул дым на нас, глаза защипало. Впервые через это фото представил ход дальнейшей жизни без меня. Они здесь все спокойно принимали свое будущее. Да и настоящее тоже, принимают, что с Ленинградом покончено, но большая война еще впереди. Это я никак не опомнюсь...

Майор ел печеную картошку вместе со всеми, что-то рассказывал смешное, показывая на нас, горелое лицо не позволяло ему смеяться, и он просто выкрикивал: «Ха-ха-ха».

Ночью Ермаков разбудил меня, надо уходить. Он не верил, что Ленинград взят. Я тоже не верил, но мне нравился майор, нравились танкисты. Алим согласился идти с нами и Трубников, а вот Мерзон решил остаться, его привлекла решимость майора, его идея «до самого Берлина виселицы».

— Куда мы уходим? — твердил Мерзон. — Куда?

Дождь стучал по брезенту.

— Действительно, куда мы уходим? — думал я. — Все время уходим. Куда?

— Зачем я ушел на эту войну? — вдруг проскочила мысль. — Ушел на одну войну, а оказалось, это совсем другая. И вот сейчас — куда мы

уходим?

— Не хочешь, — сказал Ермаков Мерзону, — оставайся.

— И останусь.

— Ты что, веришь, что Ленинград взят? — спросил я.

— А ты веришь, что Киев взят? — спросил он.

— Это совсем другое, — сказал Трубников. — В крайнем случае там на улицах бои идут.

— Нет, — сказал Мерзон, — то же самое, что Киев, что Ленинград, просрали страну, правильно сказал майор, просрали, зато выловили кучу шпионов.

— И я останусь, — вдруг сказал Трубников, — здесь лучше воевать.

На развилке нас остановил пикет, старшина и, пригрозил автоматом. Они сидели в шалаше, и, что хуже всего, у них была танковая рация.

— погоди, — сказал Ермаков, — мы с комбригом договорились, он нам пропуск дал. Ермаков вытащил из планшетки какую-то бумагу, сунул часовому. Луна светила неровно, то появлялась, то исчезала. Часовой отложил автомат, поднес бумагу к глазам, тогда Ермаков ударил его кулаком по голове, такой у него был простой прием. Старшина тихо свалился. Каждый раз было одно и то же — он оглушал минуты на четыре, на пять, потом они очухивались, приходили в себя — такой был отработанный удар. Мы отошли шагов на десять, когда нас догнал Мерзон.

— Ты чего? — спросил Ермаков.

— Не могу, — сказал Мерзон.

— Чего не можешь?

— Вы знаете, хоть и фрицы, а вешать не смогу. Стрелять — другое дело.

Через полчаса мы забрались в какой-то сарай, чтобы там доспать свое.

### *Горе побежденным*

Досыпали мы в ту ночь на стареньком сеновале среди прошлогоднего сена. Говорили про танкистов. Ермаков считал их людьми заносчивыми, чванились танками как главной силой войны:

«Броня крепка, и танки наши быстры», а у пехоты, между прочим, броня понадежней — матушка земля, она и прячет, и не горит.

Мерзону во что бы то ни стало хотелось обговорить идею майора. Ненависть, она давно соблазняла Мерзона, с тех пор, как он участвовал в допросе немецкого лейтенанта. Лощеный парень с безукоризненным пробором золотистых волос, он смеялся над акцентом Мерзона, не боялся ни комбата, ни особиста. Мерзон признался нам, что ощущал перед ним, перед этим фрицем, свое еврейство как неполноценность, возненавидел его, да и себя за это чувство. Я слушал его рассуждения сквозь дрему. В какой-то момент ко мне пришло, что у немцев не может ничего получиться, ибо они затеяли войну несправедливую. Наше преимущество — справедливость, мы защищаем свою землю, и эта справедливость всегда будет преимуществом. Простая эта мысль нравилась мне. Потом я стал думать, что ненависть, конечно, нужна, но может ли она быть преимуществом, а тем более источником силы?

Утром мы дошли до часовни сельского кладбища. Там все было разбито снарядами: развороченные могилы, кресты, трупы красноармейцев, трупов, может, десятка полтора. Мы не могли к ним подступить, тошнотно смердила гниющая человечина. Ниже погоста начинались поля молодой капусты, роскошь молодого лета. Пустынная дорога, пустынные поля густой ржи, высокая сочная трава. Косить не перекосить, повторял Ермаков, жалея, что такое добро пропадает. Крестьянская душа его страдала. Он мечтал после войны сюда приехать. Места подходящие. Вдали видно было, как по железной дороге ползет эшелон. По проселку шли свободно, уверенные, что тут немцев нет — мы безошибочно уже определяли их присутствие. Война обучала ускоренно, кроваво, без повторений. Несколько дней нашей молодой войны заменяли годовую программу целых курсов, хватало одной бомбежки, одного бегства, мы быстро поняли, как не умеем воевать, как не умеем окапываться. Учились тому, что ни в каких академиях не учили — отступать с боями.

Не так командиры, как пули, осколки заставляли окапываться глубже, ползать по-пластунски. Инженеры, станочники, конструкторы быстро соображали, что к чему, куда летит мина, что может граната. Потери были страшные, ополченцами затыкали все бреши, бросали навстречу моторизованным немецким дивизиям, лишь бы как-то

задержать. Повсюду приказывали «ни шагу назад», «стоять насмерть», выкатывали пушки на прямую наводку, но тяжелые немецкие минометы доставали повсюду, мотоциклисты с пулеметами неслись по дорогам, прорывая жидкие заслоны ополченцев.

Обучались и командиры полков, дивизий, командующие армиями. У командира нашей дивизии ничего не получалось, он потерял управление, погубил два батальона и застрелился. Другого сняли, разжаловали. Скорость жизни возросла как никогда.

Признаюсь, виноват.

Полковник Лебединский считал, что ополченцы, то есть добровольцы, лучшие воины, они могут сокрушить любую армию, они созданы для наступательных действий. И он предпринял несколько вылазок, сумел нащупать слабый стык в наступающих немецких дивизиях, вклиниться туда, и немцы на участке Александровки отступили. Впервые я увидел бегущих от нас немцев.

Командиру полка Лебединскому было за сорок. Остролицый, в очках, лицо смуглое, голос дребезжащий, неприятно жестяной, облик человека сухого, академического. Располагал он к себе ясностью своих указаний. То, что он предлагал, было понятно всем, его решения были просты, неожиданно очевидны, ни у кого не вызывали сомнений.

Две недели в начале сентября немцы принялись атаковать наши позиции. Две первые атаки мы отразили и отошли к Пушкину. При нас осталось два танка КВ из приданных нам. Они стояли на окраине парка, передвигались то к прудам, то от них, чтобы их не засекли.

Появился Лебединский со своим адъютантом. Он что-то растолковал танкистам и отправился обратно, в этот момент ударил снаряд, ударил в липу, которая с треском повалилась на командира. Когда мы вытащили его из-под дерева, у него оказалась сломана нога. Или шейка бедра? Адъютанта тоже стукнуло по голове, тем не менее он подхватил полковника с одного бока, я с другого, мы повели его к медикам. По Дороге Лебединский, бледный от боли, давал указания адъютанту — что, где, кому делать. Среди невнятицы боя он, оказывается, представлял, что творится во всех ротах полка, кому надо помочь, кого надо поддержать огнем наших нескольких батарей.

Полководец, которого увозят с поля боя оттого, что сломана нога — это выглядело несерьезно. Но полковник был весь в поту от боли. Медики взялись за него, адъютанта тоже оставили у себя, потому что у него кружилась голова и тошнило, он не мог ходить. Лебединский отправил меня на КП к начальнику штаба передать распоряжения. Когда я появился на КП, там никого не было, кроме комиссара полка. Начальник штаба ушел во вторую роту, там его ранило. Комиссар не стал меня слушать, что-то пробормотав, куда-то исчез. Короче, я остался один со связистами. Я позвонил Саше Михайлову, он был начальник политотдела дивизии. Сашу я знал по делам энергослужбы. Мы с ним оба ухаживали за одной лаборанткой. Саша сказал, что постарается кого-то прислать из командиров, пока что я остаюсь за начальство на связи.

Знал бы я, во что мне обойдется это «пока что».

Всякое со мной бывало на войне, но об этих часах и минутах я старался не вспоминать. Какие-то распоряжения Лебединского я помнил, но обстановка менялась быстро. Командиры рот что-то докладывали, требовали, я от имени Лебединского то соглашался, то отказывал, но что творится там, на переднем крае, как взаимодействуют командиры, я понятия не имел. Связь с дивизией поминутно прерывалась. Я снова звонил Михайлову, он напоминал мне про Аркадия Гайдара, который в 18 лет командовал полком. «А ты байбак...» и дальше следовала моя характеристика, не хочу ее приводить. Я был только что произведен в лейтенанты и слушать такое было нестерпимо.

Роты, батальоны настойчиво требовали поддержки, куда двигаться, следует ли ударить во фланг, обороняться дальше невозможно, отсекут, уничтожат. Где какая рота — я плохо представлял. Я что-то орал, кому-то грозил, обещал, что вот-вот подойдут подкрепления. Танки. Уровцы...

Ни через два, ни через три часа никто не появился.

То, что происходило дальше, происходило не со мной, от меня отделился лейтенант Д. Не подозревал, что во мне существует такая личность.

Поначалу действия Д. были вынужденные, скоро однако голос его обрел твердость. Д. подтянул ремень, расправил плечи, теперь он не

просил, он приказывал. Отправлять раненых незамедлительно, и на санитарной машине, а патронные ящики перегрузить на телегу.

Наконец-то свершилось то, о чем он мечтал. Еще с детских лет. Счастливый случай постиг его, и он не собирался его упустить. Это была не лесная группа, что выбиралась из окружения, под его началом был полк, остатки, всего ничего, но настоящий полк, который он бросит в контрнаступление. Фактор внезапности, сорвать замысел противника, сосредоточить силы в кулак — то, что предлагал Лебединский.

Попробовал связаться с батальонами. Где какой находится, что передним, Д. плохо представлял. Накануне он побывал во втором, в районе Александровки. Все роты требовали прислать подкрепление. Комбат сказал, что Лебединский обещал ему ПТР, противотанковые ружья — не сразу сообразил Д. Где они находятся, Д. не знал. Подсказал Иголкин. Толстенский, румяный, улыбчивый, он, похоже, знал все и всех. ПТР две штуки у транспортников, еще не распакованные, Д. срочно отправил их вместе с бойцами из транспортной роты.

### ***Осенний парк***

Воздух был наполнен птичьим посвистом пуль, минных осколков, смерть летала среди запахов зелени и нагретой земли. Смерть перестала быть случайностью. Случайностью было уцелеть. Еще сантиметр, еще чуть-чуть, если бы выпрямился — все, ступил не туда — все. Сколько их было кругом — ранений, контузий. При этом мой лейтенант думал больше всего про жратву, как бы поспать, отвертеться от работ. В его безбожной душе не появлялось благодарности своему ангелу-хранителю. Впрочем, тайком он верил в приметы, и кругом него верили в судьбу. При налетах артиллерии они все же молились. Завывал тяжелый снаряд, губы сами шептали: «Господи, пронеси, господи». Как выразился Женя Левашов: «В окопах атеисты не водятся». С Левашовым мой лейтенант подружился позже, в батальоне, где Левашов был ПНШ-2, то есть помощник начальника штаба. Беспечный красавец с пышной шевелюрой седых волос, он смешил всех в самые тяжелые минуты.

В той военной жизни смерть, хочешь не хочешь, была необходимой принадлежностью войны. Не было возможности оплакивать каждую потерю, ежедневно кто-то отправлялся в вечность. Порой целые подразделения следовали туда.

От Лебединского остался ординарец Иголкин. Теперь он повсюду следовал за лейтенантом. Тем самым подчеркивая его командирство. Этот Иголкин до войны преподавал в школе французский и щеголял французскими пардонами.

В полдень остатки полка отошли в Пушкин. Таково было еще намерение полковника. Штаб и связь расположились в Камероновой галерее. Туда же свозили раненых. Осень уже раскрасила парк. Как только стрельба стихала, возвращалась прелесть этого теплого сентябрьского дня. Пули долетали до галереи. На террасе еще осталось несколько бюстов. Когда пули попадали в цезарей, бронза протяжно звенела. Мелкие ссадины вспыхивали на мраморе колонн.

С галереи в бинокль Д. видел следы гусениц на главной аллее. По ней ночью ушли танки. Белые статуи, белые пустые скамейки. Всюду листья. Они кружились в воздухе, мешая разглядеть даль аллеи. Где-то там шла стрельба. Первая рота, вторая, батальон, что там творится, знал лучше всех Лебединский. Когда его увозили, он успел наговорить Иголкину, кому помочь, кого поддержать огнем нескольких пушек. Все это Д. старался выполнить. Больше ничего Иголкин не знал. Танки надо было задержать. Пока два прибудных КВ стояли в Александровке, было спокойнее. Д. уговорил капитана задержаться. Капитан отказался. «Снаряды!» — твердил он. Они расстреляли весь боекомплект. У Д. не было снарядов. Снаряды кончились. Танки не подчинялись ему, они искали свою бригаду. Д. кричал капитану про пулеметы. Танки имели пулеметы. Капитан что-то ответил. Д. не слышал. Он оглох. Его потрянуло тем же снарядом, что и полковника. Капитан вскочил на крыло, и танки попятились, роняя ветки, наваленные на башни. Д. встал перед командирской машиной. Капитан спрыгнул, легко поднял Д., отнес его в кусты. Танки ушли. Наверное, немцы это видели. Сразу они запустили тяжелые минометы. Пали деревья, разлетелся павильон на острове.

Д. лежал в кустах. Рядом присел Иголкин, стал снимать с него листья, красные кленовые листья. Д. не знал, что делать. Его не учили

отступать. Глухота отдалила грохот войны, он слышал разрывы приглушенно, чувствовал, как вздрагивает земля.

Остатки полка отошли ко дворцу. Д. вместе со взводом пулеметчиков прикрывал их отход. Он не слышал, что говорили вокруг. Иногда Иголкин кричал ему в ухо, тогда он что-то отвечал. Он убедился, что офицеры сами знают, что надо делать.

В вечернем воздухе потянуло гарью. Черные клубы дыма потянулись над парком. В бинокль Д. определил, что горел Китайский дворец. Блеснула доска с надписью, Д. вспомнил:

*Воспоминаньями смущенный,  
Исполнен сладкою тоской,  
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный...*

Детской памятью вспомнил лето в Пушкине, и сердце его сжалось. Вряд ли удастся отстоять этот город.

Он следил за лицами, их выражения заменяли слух. В нижних комнатах лежали раненые, валялись склянки, вата, котелки, пахло карболкой, мочой, хрустело битое стекло. Д. поговорил с начхозом, тот что-то возражал, но, увидев его пустые, как у статуи, глаза, запнулся, побежал к машине, стал сбрасывать с нее вещи. Д. следил, как несут к машине раненых. Подписал какую-то бумагу, другую не подписал, порвал. Дворцовый атласный диван стоял у стены, лейтенанту хотелось сесть на него, вытянуть ноги, но он знал — стоит это сделать, и он тотчас заснет.

Кто-то тронул его за плечо, это был врач Семен Завьялов.

— Ты бы побрился, — крикнул Семен. — А то как партизан.

Он подвел Д. к зеркалу. Вернее, не к зеркалу, а к зеркальной двери в частом переплете:

— Ты не волнуйся, пройдет глухота, через недельку-другую, — и глупо засмеялся.

Д. без интереса осмотрел свое бледное лицо в черной щетине. Лицо было незнакомо, знал он его хуже, чем лица солдат, тусклые глаза, вовсе чужие, смотрели враждебно.

Иголкин принес бритву, помазок, стакан холодной воды. Лейтенант стал бриться.

— Через недельку, — удивленно повторил он, таких сроков для него не было. В зеркальной решетке появилась голова в милицейской

фуражке.

— Говорите громче, — сказал Д.

— Хулюганют! — крикнул ему на ухо милиционер. — Ваши в парке! Опять вчера задержал двоих!

Д. видел, как он в зеркале отвечает милиционеру с напряженной улыбкой глухого:

— Вчера нас тут не было.

— Извиняюсь, — сказал милиционер. — Я в смысле артиллеристов. Двух пьяных задержали. А нынче опять стреляют.

Д. повернулся к нему. Перед ним стоял молоденький милиционер в белоснежной милиционерской гимнастерке. Фуражка лихо сдвинута набок, значки ГТО и ворошиловского стрелка блестели, как ордена.

— Там уже автоматчики, немцы, — сказал Д.

— Товарищ лейтенант, — укоризненно возразил милиционер, — меня послал начальник милиции города.

Он неодобрительно осмотрел недобритую мыльную физиономию Д.

— Ополченцы? — не дожидаясь ответа, сказал: — Раз не можете обеспечить, мы сами наведем порядок.

— Ночью, в белом, вас же переколотят. Милиционер вытащил наган, потряс им.

— Посмотрим.

— Да пусть их, — сказал Иголкин. — Вперед, сыны отечества!

Иголкин еще что-то ему говорил, они заспорили, Иголкин показывал рукой в сторону немцев. Д. торопливо добрился. Милиционер вынул из кармашка свисток, засвистел. Иголкин с интересом взял у него свисток и тоже приложил к губам. Веснушчатая его физиономия расплылась от удовольствия, он протянул свисток Д.

Внутри черного костяного свистка болталась горошина. Вот в чем дело, подумал Д., он хотел свистнуть, он давно, с детства, хотел такой свисток, но в это время вбежал политрук с перевязанной головой, потянул его за рукав. Д. на ходу приказал Иголкину не пускать милиционера в парк.

Двое солдат стояли внизу без винтовок под охраной старшины. У ног их лежали мешки. Солдаты были знакомые.

— Митюков, покажи, — сказал Д. и ткнул ногой в мешок.

Митюков присел, попробовал развязать мешок, пальцы у него не гнулись, он рванул веревку зубами. Из мешка посыпались банки шпрот.

— Дезертиры! — крикнул политрук.

Рано или поздно это должно было начаться. Шоссе и все проселки запружены беженцами. Солдаты из разбитых частей шли через Пушкин. Поток спешил к городу, огибая остатки полка. Штаб дивизии находился где-то в Благодатном.

Связь с ним то и дело прерывалась. Смысл обороны, которую занимал батальон, терялся, страх окружения вступал в свои права. Д. вытащил пистолет. Сделал это машинально. Слезы катились по грязным глазам Митюкова. Он сидел на корточках, не в силах подняться. Второй солдат, Чиколев, смотрел на Д. усмешливо, что-то говорил.

— Что? Не слышу, — сказал Д.

— Я говорю, товарищ лейтенант, что вы сами скоро побежите.

И лейтенанту показалось, что Чиколев ему подмигнул. Он всегда был с тараканами, этот Чиколев, хитроглазый.

— Встать! — скомандовал Д.

Но Митюков затрясся и остался на корточках. Д. пнул его ногой, Митюков опрокинулся на пол, вскочил и бросился бежать. Д. выстрелил куда-то вверх, знал, что сейчас Митюкова схватят, приведут, и придется застрелить его. В те дни расстреливали дезертиров, но Д. понял, что застрелить не сможет и тут же подумал, что бойцов не хватает, а сейчас главное — удержать Пулково, Пулковскую высоту, предупреждал штаб. Если не удержат, его самого расстреляют.

Привели Митюкова. Он дрожал. Лейтенанту было жаль его больше, чем Чиколева, тот продолжал усмехаться. Митюков что-то быстро говорил, и политрук говорил — это была пантомима, от их слов ничего не зависело, так же, как и от лейтенанта.

Они тоже понимали это, они видели не своего застенчивого лейтенанта, а каменно-угрюмого исполнителя высшей воли. В глазах его было темно, он сказал голосом, не требующим ответа:

— Как же так, Митюков, что ж ты наделал, ты же хорошо воевал! ?

Наверху истошно завывало, все бросились на землю. Один Д. все так же стоял. Тяжелая мина разорвалась между деревьев, попадали ветки,

закружилась листва. Политрук остался лежать. Чиколев и Митюков понесли его в вестибюль.

У дверей в зал происходил какой-то скандал. Там перегородил вход бойцам и саперам старичок в синем халате. Младший лейтенант Осадчий оттаскивал его за отвороты. Все ругались. Какая-то девица тоже в синем халате оттолкнула Осадчего, прижалась к высоким красного дерева дверям. Лейтенант спросил, в чем дело. Его никто не слушал. Он поднял руку, увидел в ней пистолет, выстрелил в окно. Осадчий доложил, что надо через залы подтаскивать мины, а старик не дает, полы бережет, немцев ждет.

— Знаете, что он говорит?

— Что? — спросил лейтенант.

Осадчий толкнул старичка.

— Давай повтори.

— И повторю! — закричал старичок, глаза его горели решимостью.

— Не пущу!

Он прижался к дверям, еще шире раскинул руки.

— Не дам! Взорвать дворец! Это не военный объект! Не имеете права!

— Нет, ты повтори, для кого бережешь, — угрожающе сказал Осадчий.

— Да, немцы не позволят себе такое, они культурные люди.

— Слышал? Фашисты — культурные! Они книги жгли!

Осадчий скомандовал, саперы оторвали старика от дверей, высадили их с треском, и перед ними распахнулся зал, освещенный электричеством. Узорчато-зеркально блестящий паркет, хрустальные люстры, канделябры... Выложенные бронзой следующие двери открывали анфиладу зал. Зрелище показалось лейтенанту волшебнопризрачным. До сих пор дворец был для него лишь укрытием от обстрелов.

Осторожно лейтенант двинулся по воценой глади паркета. Вспомнился жаркий день, когда отец привел его в эти просторы парадного золота, и они, надев войлочные туфли, ходили с экскурсией.

Грязные следы солдатских сапог отпечатались, налепили мокрые листья, сквозь все узоры тянулись глубокие царапины.

— Ваши люди тащили здесь ящики, — старик показал на борозды.

— Что же вы делаете?

По синему небосводу потолка летели купидоны. Кое-где стояли вазы. Многие были вывезены, убраны, торчали крюки от картин. Ничто уже не отвлекало от обнаженной красоты залов, от лепнин. Узоры китайских обоев, кресла... Сюда еще не проникла вонь пожаров, отсветы их сквозь оконную расстекловку выглядели как праздничный костер.

Лейтенант плыл словно во сне. Пустынный дворец втягивал его в заколдованное великолепие. За лейтенантом двигались саперы Осадчего, мимо них пробежали, разматывая провод, двое солдат.

— Артиллеристы, — сказал Осадчий на ухо лейтенанту.

— Вы подвергаете дворец опасности, — сказала девушка.

Лейтенант подумал и сказал Осадчему:

— Давай заминируем только подходы.

— Есть сталинский приказ, — сказал Осадчий.

— То приказ насчет складов и заводов.

Дальше Осадчий заговорил сплошным матом, лицо его задергалось, сорвал с плеча автомат, пустил очередь по стенам, затем по зеркалам, так что они взвизгнули мелкими брызгами, провел свинцовым полукружьем по узору паркета, щепка полетела во все стороны.

Лейтенант его не останавливал. Девушка бросилась к Осадчему, лейтенант перехватил ее, потому что Осадчий дрожал, взгляд его был безумен.

— Варвары, — кричала девушка.

Старик-смотритель опустил голову и отвернулся.

— Может, завтра здесь будут немцы, — сказал лейтенант. — Уходите.

Еще он сказал:

— Почему вы столько оставили, почему не увезли?

Старик оглядел его почти брезгливо, на лейтенанта еще никто так не смотрел.

— Потому что вы воевать не умеете, — произнес старик.

Лейтенант не успел ответить, прибежал Иголкин, лейтенанта вызывали по телефону из дивизии.

Ему сообщили, что надо удержать позицию а до завтрашнего вечера, пока займут позицию на Пулкове. Сказали, что к нему едет Михайлов. Когда лейтенант вышел, на ступенях лежал молоденький

милиционер, из горла у него толчками шла кровь, над ним хлопотал врач. Рядом на земле лежал убитый милиционер, лицо его было закрыто фуражкой.

— Не послушались, — сказал Иголкин. — Дурни.

— Кончается, — сказал врач. Умирающий вытянулся как по команде, лицо его разгладилось, он удивленно смотрел в небо.

### ***Невероятное***

С передовой звонили, требуя поддержки, спрашивали, следует ли ударить во фланг, обороняться дальше невозможно, боялись, что отсекут. Где какая рота лейтенант плохо представлял. Дальше пошла какая-то неразбериха, действия и намерения лейтенанта я уже плохо могу объяснить, могу лишь вспомнить какие-то факты. Видя бойцов, которые толпились возле КП, он считал, что они отсиживаются, гнал всех на «передок», набросился на какую-то команду, которая сидела на траве, курила.

— Кто такие?

— Минометчики.

— Почему не стреляете?

— Мины не подвезли.

— Отсиживаетесь?

Отправил их всех во вторую роту, которая требовала помощи. Через полчаса доложили, что мины доставлены. Где минометчики?

Появился писательский взвод, был при дивизии такой, состоял из ленинградских писателей.

— Где командир?

— Командир в политотделе дивизии получает задание.

— А, отсиживаетесь!

Вызвал из строя молодого, рослого, в очках.

— Кто такой?

— Поэт Лифшиц.

— Назначаю вас командиром. Выстроить взвод и на передовую, в распоряжение командира первой роты.

Поэт Лифшиц пытался объяснить, что он не умеет командовать, что их командир Семенов вот-вот вернется. Лейтенант отчеканил свое:

— Ваша задача помочь эвакуировать раненых, и никаких разговоров.

Недослушав, лейтенант скомандовал:

— Выстроить взвод и шагом марш!

Лифшиц опять что-то начал говорить.

— Потом будете писать, сейчас надо воевать, — сообщил лейтенант им всем.

Голосом мучительно застенчивым Лифшиц подал команду: «Шагом марш».

За всю войну лейтенант Д., помнится, не встречал более неподходящего к должности командира, чем этот поэт.

Взвод не взвод, скорее гурьба пожилых, сутулых мужчин ворча, переговариваясь, обреченно двинулась к дороге.

Спустя многие годы они встретились. Лифшиц узнал Д., ничего не сказал, отвернулся. Бывшему лейтенанту было бы легче, если бы Лифшиц был плохой поэт, но он был неплохой поэт. И Д. нравились некоторые его стихи. Очки его стали еще толще, мягко-пухлое лицо еще добрее. Теперь, без оружия, в потрепанном свитере, тот бывший лейтенант ничего не представлял из себя, невозможно было понять, как он мог этого поэта гнать на передовую, под пули, гнать их всех.

*Я вас хочу предостеречь*

*От громких слов, от пышных встреч.*

*Солдатам этого не надо.*

*Они поймут без слов, со взгляда,*

*Снимать ли им котомку с плеч.*

Много позже в разговоре с поэтом Александром Гитовичем я узнал, что, оказывается, Владимир Лифшиц после ополчения остался в армии, воевал, стал офицером, командовал чуть ли не батальном. Это несмотря на свою близорукость. Отличился в боях.

Во времена борьбы с космополитами, на самом пике антисемитской травли, он вел себя непреклонно, не калялся, кажется, единственный из поэтической группы Гитовича, где были В. Шефнер, А. Чивилихин, еще кто-то.

Такое продолжение этой жизни было для лейтенанта неожиданным. Хотя давно бы мог усвоить, что судьба предпочитает

решать по-своему, неведомо, из каких соображений.

Куда делись те двое дезертиров ? Они затерялись среди вороха событий. Слава богу, он не застрелил Митюкова, он никого не застрелил, а ведь мог бы. Такое у него было состояние. И сошло бы с рук. Был ли какой-то толк от его командования: кое-что он наверняка ставил себе в заслугу. Продержались в Пушкине еще почти сутки, немцам не удалось занять Пулково. Д. приписывал себе эвакуацию раненых, организованный отход из Пушкина. Что касается Пулкова, тут он преувеличивает. Простим и прочие погрешности молодых лет. Что-то можно ему оставить, личное мужество, все же не запаниковал. А бестолковость, она в те дни охватила и куда более опытных.

Уходили из Пушкина в пять утра 17 сентября. Немецкие автоматчики уже заняли парк. Было прохладно, солнце еще не вылезло, желто-красные полосы восхода наливались светом. Глухота проходила, он слышал, как зачирикали первые птицы. Мостовые поблескивали росой. Пустые улицы, гулкий шаг армейских сапог, но город спал, в окна никто не выглядывал. Висела афиша: «Анонс — кинокомедия "Антон Иванович сердится" с 18 по 26 сентября».

Д. шел в конце колонны, говорили о том, не разбудить ли город, не объявить ли по радио, Дать людям возможность бежать. Представитель штаба заявил, что никто не уполномачивал... произойдет паника, столпотворение, полк задержат...

Подшли к Пулкову, с высоты открылась равнина, вся усеянная фигурками людей. Сотни, тысячи солдат стекались с разных сторон в город. Спешили, пробирались через картофельные поля. По заросшим полям, исчерченным проселками, тянулись повозки с пулеметами, снарядами ящиками, телеги со скарбом беженцев, они везли детские коляски, велосипеды, увешанные узлами. То было наглядное зрелище всеобщего отступления, картина, которая напоминала огромное полотно Брюллова «Последний день Помпеи». Д. понял, что фронт рухнул. По крайней мере юго-западный участок прорван. Никто не останавливал эти массы отступающих. Кое-где выделялись группы солдат, сохраняющих строй, маленькие отряды, они шагали, не смешиваясь с этим муравейником.

Показались немецкие самолеты. Сперва несколько, потом небо загудело, их налетели десятки. В поле ровном, пустом укрыться было

негде, ни окопов, ни строений, огромная гладкая зеленая плоскость тянулась до самого города, на ней был виден каждый человек. Сперва посыпались небольшие бомбы, затем свинцовые очереди, штурмовики били бесприцельно, оставляя на земле лежащих, ползущих.

Бежали кто куда, но всё к городу, к горизонту, обозначенному каменными корпусами. С ревом, на бреющем полете, самолеты неслись прямо над головами, поливая свинцом бегущих.

Иголкин палил в них из автомата. Пулеметные очереди одна за другой вычеркивали из жизни остатки полка. Иголкин повалил Д. на землю, но лежащее тело было уязвимей. Надо было двигаться, бежать, петлять, мчаться. Д. очнулся от взрыва, когда от полка никого не осталось, куда-то делся Иголкин, сам Д., хромя, очутился на Средней Рогатке у кольца трамвая. Он сел в вагон отдышаться. Подошла крашенная огненным стрептоцидом кондукторша, потребовала купить билет. Д. тупо смотрел на нее.

— Вы что, не видите, что творится? — сказала какая-то тетка.

— Если б он ехал на фронт, я бы с него не спрашивала.

Д. закрыл глаза. На Невском его растолкали.

### ***Под трибунал***

В штабе Армии Народного ополчения его долго мурыжили в бюро пропусков, тогда он сказал дежурному офицеру, пусть передаст начальству, что никаких частей по дороге от Пулкова в город не осталось. Вход в город для немцев открыт беспрепятственный. Делайте что хотите, а он пойдет домой спать. Провалитесь вы все. Такой оборот не устраивал дежурного. Он по-быстрому повел Д. на второй этаж, сдал там адъютанту. Надо было ждать. Снова ждать. Никто здесь, в этой приемной, не хотел его слушать. Доложено, мать вашу! Товарищ лейтенант, вам сказано, держите себя в руках.

Во дворце ходили с бумагами вниз-вверх, курили, хлопали двери, стучали машинки — эта будничность поразила Д. Он мчался сюда от трамвайной остановки, бежать по лестнице не мог, контузия еще давала о себе знать.

В кабинете, куда его наконец провели, находилось несколько командиров, один из них с забинтованной головой. Они стояли,

слушали того, кто говорил по телефону. Это был гражданский в светло-сером френче. Следили за его лицом. Задыхаясь, Д. стал кричать, что город открыт, настужь открыт, немцы вот-вот войдут, может, уже входят... со стороны Московского проспекта от Пулкова ни одной части... с минуты на минуту... Чего тут тянуть, что вы хотите, сдать город?..

Бог знает, чего он наговорил. Генерале забинтованной головой стукнул по столу:

— Молчать!

Заявил, что им все известно, меры принимаются, доложили товарищу Жданову.

Но Д. уже не мог остановиться.

Они ему стали командовать, ставить по команде «смирно». Где его полк? Вместо того, чтобы занять позиции, он прибежал наводить панику? Отвести его в трибунал.

Кто-то пробовал вступить за него, но штатский хлопнул ладонью по столу:

— Кто поручил этому придурку командовать?

Вот тут лейтенант и послал их всех, устало послал, без особой злости. Трибунал так трибунал, его это не испугало. Была обида, но в общем и целом плевать. Он так и сказал адъютанту, который вел его куда-то наверх в трибунал.

Суда он не испугался, не было страха. Объяснение, которое он написал, было короткое, возмущенное, лично он сделал все, что мог, и если судить, то надо тех, кто оставил южную часть города беззащитной...

Все дело в том, что лейтенант — человек другого поколения. Нас разделяет целая эпоха. Он верил в Победу, цена не играла для него роли, никакие неудачи, ошибки не могли затенить того факела, что светил ему вдалеке...

Окончательно он пришел в себя в трибунале. Находилось это судилище на верхнем этаже дворца, в сущности, на чердаке. Привел его туда адъютант. В полутемной приемной сидело несколько военных, ожидая своей очереди. Д. предложили написать объяснительную записку, почему он распустил полк, не назначил места сбора, бросил остатки полка во время налета авиации на произвол судьбы... Все в

таком духе. Ему объяснили, что Военному Совету положение известно, товарищу Жданову доложено, меры принимаются, он продолжал скандалить, вел себя недопустимо, не подчинялся приказаниям. Ругался и в Малом зале с мраморной фигурой Афродиты. Почему-то это особо упомянули. Моего лейтенанта пытались утихомирить, он пошел вразнос, ему было уже все равно, ему надо было выговориться, скопилось столько всякого за эти дни, его несло, колотило.

Его взяли под стражу, в конце концов он очутился здесь, в трибунале.

Безумно хотелось спать, что-то делать, бить в колокола, обида жгла. Пусть его расстреляют. Потом спохватятся, да будет поздно. Немцы войдут в город и всем этим начальникам будет стыдно...

Вряд ли стоит приписывать ему эти детские чувства, на самом деле, возможно, все было куда серьезнее, глубже, но как именно, уже не восстановить.

Там, за дверью, должна была решиться его участь. Приговор, может, уже готовился. В те дни все решалось запросто, пиф-пиф и концы. Смерть работала в окопах, в городе, это от немцев, а еще от своих — особисты, трибуналы. Откуда дырку получишь — без разницы.

Удивительное дело, ничего такого, никакого трепета ожидания не было. Он проваливался в блаженный покой сна со счастливым ребячьим посапыванием.

Его разбудил незнакомый рыжеусый майор. Тряс, тряс за плечо, пока не заставил вернуться. Спросил, кто такой, по какому поводу. Спрашивал, спрашивал и приказал отправляться в Шушары, отыскать 292 ОПАБ, что означало Отдельный артиллерийско-пулеметный батальон второго УР'а, что означало укрепрайона, и принять командование.

— Устав знаешь? Приказ последнего командира — закон!

Тут же на планшетке написал предписание, вытащил печатку, подышал на нее, притиснул — и шагом марш, без разговоров, сам отыщешь штаб.

Д. уже перестал чему-нибудь удивляться. Сон и явь смешались в его голове и смесь эта была замечательной.

Тащиться в Шушары искать свой батальон сил не было, надо было вздремнуть хотя бы чуток где-то, лишь бы прочь отсюда, еще спохватятся. Мой лейтенант не верил тому, что произошло. Вышел на площадь, огляделся, не веря своей свободе. Гостиница «Астория». А почему бы нет? Ему теперь все было нипочем. Вестибюль все так же роскошен. Суета, множество каких-то людей, полковники, адмиралы. Лифты работали. Он поднялся на третий этаж. Почему на третий, не поймешь. Дежурная по этажу. «Девушка, я такой-то, вот направление, но не дойти, дай где угодно вздремнуть. И разбуди пораньше. И если фрицы войдут в город, тоже буди». То ли напугал, то ли расположил мой лейтенант — автомат на груди, язык заплетается, но ведь не пьян, видно, что еле держится на ногах. Сейчас ляжет на пол, и привет, не добудишься. Что вы думаете — взяла под руку, чтоб не отключился. Куда повела — вспомнить невозможно. И потом никогда не мог вспомнить ни ее лица, ни той кровати или дивана. Прежде чем завалиться, он уже спал. И не знаю, как она вернула его в то хмурое утро и что говорила на прощанье, и он чего-то отвечал.

На полуторке добрался до Средней Рогатки. Опять проголосовал. Так, на попутках, добрался до Шушар. По дороге на заставах всем давал свое предписание, и все верили, похлопывали по плечу, угощали табачком, но никто толком не знал, где этот ОПАБ. Царила неразбериха, другая, чем вчера, не бежали, а спешили, тащили орудия, минометы, шагали матросы, курсанты и все туда — к Пулкову, к Пушкину. Город вздрогнул, очнулся. Заполдень добрался до штаба, это был погреб под разрушенным домом. Сразу не вошел, а присел у входа поболтать, покалякать, благо, там саперы чего-то мастерили. Не представлялся, да никто и не спрашивал, кто он, зачем тут. Был неотличим от всех других — такой же усталый, немывтый, небритый, весь измятый, такой же взволнованный. Саперы толковали о новом комбате, прибыл вчера ночью. Старший лейтенант, артиллерист, кадровик, не то что эти гражданские шлёпалы. Отправился этот комбат в первую роту, он наведет порядок, он всем даст прикурить. Мой лейтенант слушал это с восторгом, боже ты мой, как повезло, сплошная везуха.

Он спустился в погреб, холодный дымный, представился пожилому капитану, то был ПНШ-1 (помощник начальника штаба). Тот обрадовался, сразу определил командиром в ДОТ такой-то. Ни

документов, ни анкет, ничего им не надо было, только фамилия да имя. Счастливое время, опасность сплотила всех, и вдруг все всем поверили.

Моему лейтенанту показали, куда топать вдоль шоссейки, за мостом увидит бетонный колпак ДОТа.

Отойдя шагов на двадцать, он вытащил предписание майора, порвал его на мелкие клочья, подбросил в воздух, смеясь, смотрел как они разлетаются, словно тяжесть свалилась с плеч. Свободен.

В неразберихе тех дней он благополучно затерялся во втором укрепрайоне Шушар.

Так закончился этот сентябрьский день 1941 года. Спустя лет двадцать мы с Мишей Дудиным шли в Пушкине по аллее парка, и я рассказал про то, как Ленинград, казалось, остался открытым настежь перед немцами. Всего на один день... Миша не поверил мне. Я и сам уже не верил себе. За эти годы Ленинградский фронт слился с блокадой и они окаменели примером легендарного сопротивления.

— Не может быть, — сказал Миша. — Такого не могло быть. Он был фронтовик, он работал в газете «На страже Родины» и знал про Ленинградский фронт больше меня.

Но этого не могло не быть, потому что это было со мною, было.

Ни в книгах, ни в мемуарах — нигде ничего не упоминалось про этот день. Его уничтожили, вымарали из истории. Военным историкам все было ясно. Немецкие войска столкнулись с обороной Ленинграда, конечно, исторической, взять город не смогли и вынуждены были перейти к блокаде...

День 17 сентября у немецких историков тоже отсутствовал. Они стремительно домчались до Ленинграда... и что? И зарылись в окопы. У нас было 900 дней неприступной обороны, у них тоже было 900 дней неприступной осады города.

Никто не мог меня переубедить! 17 сентября 1941 года было! Ну хорошо, у нас творился бардак, но почему немцы, которые так рвались к Ленинграду, на полном ходу застопорили и не вошли в открытые ворота?

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ



*День «Икс»*

День 17 сентября 1941 года становился загадочнее. Дрема словно рассеивалась. На трамвайном кольце он сел в вагон. Трамвай с лязгом тронулся. К лейтенанту подошла кондукторша. С большой груди у нее свисали рулоны билетов. У лейтенанта не оказалось денег, его рассмешил абсурд ситуации. Город открыт для оккупантов, никому до этого дела нет, извольте платить за проезд. Напрасны твои смешки. Если б на фронт ехал, мог бы без билета, а с фронта — плати без разговоров!

Такая попалась скандальная тетка. Какая-то старушка за него, бедолагу, заплатила... Память упорно повторяла одни и те же подробности.

Город за грязным вагонным стеклом выглядел странно. Вел как бы мирную жизнь. Притворялся, что ничего не происходит. Новенькие ДОТы на Московском проспекте были пусты. Безлюдны баррикады. Бульвар, раскрашенный пылающей осенней листвой, старушки на скамейке возмущали его бесстыдством. Не понимают или сговорились? Какой-то неясный умысел чудился ему. Улицы должны бурлить паникой — беглецы, где горожане, пораженные страхом? Он подозрительно вглядывался в стоящих на остановках. Повсюду он видел маски обыденности. Безумная догадка мелькнула перед ним, он отбросил ее со стыдом, но на площади перед Мариинским дворцом вернулся к ней: «Сговорились. Наши с немцами. Будут выводить всех из города и отдадут его». Единственный смысл происходящего, какой он увидел: немцы ждут, не входят, ведут переговоры. Не может быть, но ничего другого он представить не мог.

И весь сентябрь и позже они, немцы, не делали попыток прорваться в город.

Историки блокады встречали мои слова с недоверием. То, что я очевидец, не убеждало. Не могло такого быть. Не могло, потому что такого не может быть. Чтобы в сентябре город остался без всякой защиты, имел свободный доступ хотя бы в одном месте. Повсюду были сооружены доты. На подступах к Кировскому заводу и к другим устроены пулеметные гнезда. Меня уверяли, что мне померещилось. Контузия или выпивка... Героическая оборона уже действовала. У историков были документы, сводки командования. Я не мог найти ни одного свидетеля, ни одного свидетельства.

Тот день, 17 сентября 1941 года, с годами становился призрачней, но я не отказывался от него, не отрекался — он был.

С началом ХХІ века у немецких историков стали публиковаться кое-какие материалы, но решающим для меня стал случай. В 2003 году, как раз тоже в сентябре месяце, на каком-то приеме меня познакомили с рослым немцем. Он представился: Герман Лееб. Я спросил, не родственник ли он фон Лееба, командующего группой «Север» во время войны. Оказалось, не то что родственник, а сын, младший из трех сыновей фельдмаршала, единственный, кто остался в живых. Мы разговорились. Выяснилось, что в архиве фон Лееба есть его письма и дневники. Герман Лееб готов предоставить эти документы, они были изданы крохотным тиражом.

Это был тот счастливый случай, который пришел ко мне на встречу, они ходят на встречу, но важно их заметить и не разминуться с ними. Дневники были бесценным документом. Фельдмаршал надиктовывал их с августа 1941 года по январь 42-го. Ежедневно. Пока он командовал немецкими войсками, стоявшими вокруг Ленинграда.

Ежедневно, подробно, с немецкой аккуратностью и настойчивостью. Нечто подобное делали и другие генералы, но фон Лееб — было то, что мне надо. Он мог решить загадку сентябрьских дней: почему немцы не вошли в город, почему не воспользовались той брешью, которая была в районе Благодатного?

Я читал дневники с удивительным чувством, похожим на разведчика, на Штирлица, который проник туда, в немецкий штаб, и слышит их разговоры и что они собираются делать. Все время хотелось предупредить своих командиров, рассказать, что я узнал. Конечно, уже никому это было не интересно. Я опоздал. Это было и чувство свидетеля, и участника событий, я как бы находился и по ту, и по эту сторону фронта.

Что же там творилось? Немецкие войска вплотную не только подошли, но и окружили Ленинград, оставалась финская сторона, где не было немецких войск.

Немцы тщательно готовились войти в Ленинград, они были измотаны боями в Прибалтике, на Лужском рубеже, тем яростным сопротивлением, которым их встречали в каждой переправе, на оборонительных сооружениях наши кадровые дивизии и дивизии Народного ополчения. Блицкриг в России не проходил. И все-таки они

добрались до Ленинграда, города, ненавистного Гитлеру. Он все время повторял: «Надо его сравнять с землей». И вот с опозданием против намеченного генштабом плана немцы достигли предместий города.

Немецкая авиация бомбила город, налет за налетом, и днем и ночью, пожары, по тридцать-сорок-пятьдесят пожаров в день. Положение стало критическим, маршала Ворошилова отозвали в Москву. 11 сентября в город прибыл новый командующий — Георгий Жуков. И в этот же день, как отмечает фон Лееб, военным комендантом Ленинграда уже намечен немецкий генерал Линдемман.

На стенах города расклеена листовка, озаглавленная «Враг у ворот!» Пал Дудергоф. Немцы заняли Красное Село. Взята Гатчина. Нельзя сказать, что все для немцев складывается удачно, нет, чутье военного подсказывает фон Леебу, что его солдаты устали, что потери велики, но самое тревожное, что в Берлине, в Генштабе верховного командования, происходит что-то непонятное. В штабе 18-й армии детально разработан план, по каким улицам Ленинграда будут двигаться немецкие части, еще два-три дня, и немцы войдут в город, фон Лееб в этом убежден. Для входа подготовлен 50-й армейский корпус, выделена полицейская дивизия «SS» и служба безопасности «SD». Еще месяц назад начальник Генерального штаба Гальдер в разговорах с Леебом выражал сомнение, надо ли входить в Ленинград, предупреждал, что у фюрера есть возражения. И вот сейчас вдруг приходит приказ Гитлера перевести авиакорпус на Москву, то есть в группу войск «Центр», которая готовится к захвату Москвы. Затем танковую дивизию и мотодивизию тоже отзывают на московский фронт. Фельдмаршал пытается как-то залатать создавшиеся бреши. Оставшиеся части действуют успешно. Дальше — приходит указание: «В город не входить». Это 16 сентября. Через несколько часов взят Пушкин. Мы уходим. Немцы за нами. «В город не входить». Но, судя по записям в дневниках, Лееб не отказывается от своих намерений. Не очень понятно, хочет ли он поставить Берлин перед свершившимся фактом, подготовил ли он какое-то оправдание, действует ли он согласно поговорке «Победителей не судят». Конечно, уйти из города всегда успеется, а упустить такую возможность тяжело, а может, невыносимо. В жизни бывает момент, один момент, если упустишь его — это навечно. В дневнике фон Лееб достаточно сдержан в своих эмоциях. Но все яснее, что политики, штабисты, столичные стратеги

хотят отнять у его генералов победу. Они ее добились, выстрадали, и теперь отказаться не желают, с какой стати. Это их добыча.

| Положение Ленинграда безнадежно. И в Берлине решают — подождать, Ленинград должен сдаться. В Генеральном штабе, да и сам фон Лееб, ждут капитуляции, подождем, не стоит ввязываться в уличные бои, терпеть потери, которых и так уже много, город капитулирует, как это было с Парижем и другими городами. Уже составлена инструкция: «Как обращаться с населением города». Прежде всего зарегистрировать всех мужчин. Собрать в районные пункты коммунистов, милиционеров, евреев, комиссаров. Должен пасть Павловск, и вот он пал. Все готово. Только через Неву нет сил перебраться, выдохлись, но это необязательно, в город можно входить, враг деморализован, особого сопротивления немцы не ждут.

Однако приказ есть приказ. Немецкие офицеры возмущены: «Почему не входим?». Приказ остановиться у ворот города немотивирован. Генералы группы «Север» недовольны. Весы Истории колеблются туда-сюда, пока не перевесило. Что? Спустя годы один священник, умница, твердо определил мне: «Чудо. Свершилось чудо». Но я не хотел согласиться с ним. Если чудо, значит, мы ни при чем? И все наши жертвы, усилия, оборона — все напрасно? И в то же время и тогда, и теперь я ощущаю чудо спасения Ленинграда, казалось бы, обреченного. И немецкие офицеры по ту сторону говорят фон Леебу: «Почему мы стоим, что же все наши усилия, наш поход, наши потери — все напрасно? Капитуляция? А где она, когда она будет?»

Первый же месяц-полтора войны, несмотря на кажущиеся успехи, породили у начальника генштаба Гальдера сомнения, слишком велики были потери немцев, и слишком велико было сопротивление Красной Армии. Фельдмаршал Лееб понимал его, однако Ленинград должен был пасть. Сентябрь-октябрь-ноябрь — в городе начинался голод, было известно, что запасов продовольствия уже нет, город не имел права сопротивляться.

Дальше все известно. Немецкая армия приступила к удушению Ленинграда голодом, голод, бомбежка, зажигалки и тому подобное. В самом конце сентября — начале октября некоторые части из группы «Север» отзывают для наступления на Москву. У Ленинграда прервана вся связь с Большой землей. Начинается блокада.

С немцами повторяется то же, что было с нами — солдаты не стреляют по врагу, не хотят навлечь огонь нашей артиллерии. Боятся обнаружить себя. Появляются характерные приказы немецкого командования: «Солдат, который так себя ведет, чувствует себя побежденным». Гитлер меняет одно указание на другое, то он требует уничтожить город артиллерией, то взрывами, то сжечь его зажигалками, то разбомбить — ничего не получается из его абсурдных идей, этот город досаждал, как нарыв. Фельдмаршал фон Лееб посещает Гитлера в его ставке несколько раз и не может добиться решения, что делать с городом и с его населением.

Немецкие войска вокруг города вынуждены заниматься полицейскими обязанностями и умерщвлять город голодом и артиллерией. То есть уничтожать мирное население. Это не по душе фон Леебу, к тому же попытки взять Тихвин не удались. Несколько раз он подает Гитлеру прошение об отставке и в конце концов в начале января отставка принята, он уходит из армии.

### *Ходы сообщения*

Довольно большой железобетонный ДОТ пропах дымом, варевом. Свет шел из раскрытой двери. На деревянных нарах сидел-лежал орудейный расчет — два узбека и сержант из Белоруссии. Орудия они не знали, никогда не стреляли из этой махины, 120 миллиметров, они кое-как справлялись с пушечками 45 и 76 мм — «Прощай, Родина!». Познакомились. Узбеки где-то раздобыли двух голубей и готовили из них плов.

Я решил, что надо испытать наше орудие в боевых условиях. Приказал зарядить и выстрелить.

— Куда?

— Да в Пушкин, благо, туда уже вошли немцы.

— Куда?

— Давай бей вокзал.

По дворцу жалко было палить. Так и сделали. Кое-как зарядили, снаряды ни у кого не было. Примерно определили.

...Я очнулся на полу. Оглушенный, выполз наружу, за мной выбрались остальные. У кого текла кровь из носа, у кого из ушей, все были черные от сажи, осыпалась на нас прошлая жизнь ДОТа, коптилки,

картошку варили здесь же. Отлежались на траве. Грохот в замкнутом пространстве ДОТа, да еще кто-то двери прикрыл. Удар оказался столь сильным, что молодой узбек из расчета оглох на одно ухо, у него, как сказал врач в медсанбате, лопнула перепонка и его перевели в хозвзвод.

Прибыл связной, потому что до нас нельзя было дозвониться. Он повел меня в штаб, там начарт Карпенко набросился на меня: «Кто приказал стрелять!? Зачем демаскируете себя!? Надо стрелять в цель, а у вас была цель!?»

Матюгался в полном бешенстве, брызгал слюной, заявил, что доложит комбату. Слова его доносились ко мне еле слышно, как будто он что-то виновато шептал. Я сказал ему, что для всех нас это был первый выстрел.

— Молчать! — закричал он, — Что вы орете на меня? Что вы позволяете себе?

Я понял, что кричу, но иначе я не слышал себя. Через два дня меня направили в боевое охранение и я наконец дослужился до взводного. Потом, выяснив, что я инженер, послали в распоряжение воентехника Лаврентьева.

Кольцо немецких войск вокруг города сомкнулось, наши «БТ» не могли действовать, и было решено их закопать, превратить в боевые точки. Лаврентьев считал меня инженером по танкам и предложил руководить работами. Я было отказался, но сообразил, что специалистов по закапыванию не бывает, и мы закопали три «БТ». Володя Лаврентьев вдруг решил, что я могу на своем Кировском заводе украсть танк для батальона. В те времена к воровству не привыкли, не было принято воровать не то что танки, даже инструмент и то не выносили с завода. Но, конечно, от командировки я не отказался. На заводе зашел к себе в энерголабораторию, девочки-лаборантки облизывали меня. Я красовался, прихрамывал, показывал контуженное бедро, никакого другого ранения еще не было. Попробовал поговорить с ребятами из сборки насчет танка для батальона. Да ты не только оглох, сказали мне, у тебя вообще с головой плохо.

Голод приходил в Ленинград незаметно, слово «блокада» появилось много позже, поначалу пользовались привычным армейским «окружение», оно было легче, из окружения можно было

выйти. Без карточек продавали еще остатки конфет, сухари, крабы и в аптеках касторовое масло и сахарин.

«БТ» закопали так, что наверху осталась башня, броня была слабой, но от пуль защищала. Комбат заставлял копать и копать, не просто окопы, а ходы сообщения. Кормили пшенной кашей, той самой «блондинкой», которая осточертела, и еще шпротами, почему-то склады были полны плоских коробок шпрот. Проблема брюха на фронте стала занимать всё больше места.

Первый снег выпал рано. Я вышел утром и зажмурился от белизны и блеска. Снег прикрыл всю грязь нейтралки, воронки, разбитую полуторку. День, два держалось это праздничное убранство зимы, пока не изрыла его артиллерия. Взводный приказал очистить окопы и ходы сообщения. Работать надо было малыми лопатками. «Давай лопаты» — зашумели, галдеж был общий. Ротный слушал без интереса, затем сказал: «Не хотите — не надо, во-первых, старшина с обедом не доберется до нас, во-вторых, немцу удобнее, по снегу пойдешь — в окопе от немца не укрыться». На войне приказ и необходимость большей частью совпадают, шуми — не шуми, а чистить надо.

В землянке на нарах у меня было местечко, где снился дом, моя комната, и те первые ночи с Риммой. Мы тогда стелили себе на полу, кровать была слишком тесной. Я знал много стихов, читал ей, читал Пастернака, его стихи я плохо понимал, поэтому они мне нравились. Было несколько военных ночей, завывала сирена, мы вставали к окну, прожекторы перечеркивали ночь, ухали зенитки, и мне казалось, что это праздничный салют в нашу честь. Тогда от первых воздушных тревог в комнате становилось уютнее, страха еще не было, то есть он был, но как приправа. Опыта любви нам не хватало, мы имели высшее образование и полную безграмотность в том, что нужно для счастья. Чудо было, что мы прошли сквозь первые наши ночи, не испортив чувства.

...Мы снова ложились, я сворачивался калачиком, колени к подбородку, примерно так, как сейчас на нарах, на соломе, Римма спиной ко мне, я утыкался к ней в плечо и мы одновременно засыпали. Как хорош был тот сон...

Я оформил ей аттестат как жене. Это было, наверное, подсознательное желание закрепить свою находку, связать ее, она человек обязательный, крепких провинциальных устоев и

будет дожидаться меня, хотя надежды мало, но думаю, такая у этого парня была нехитрая логика. Факты, события, как точки, легче всего их соединить в ровной прямой или плавной кривой, так делают в эксперименте. В итоге получается ясная картина поведения. Каждый факт укладывается на кривую, и получается объяснение, график можно экстраполировать. На самом деле спустя годы поступки становятся малопонятны.

Когда зарегистрировались в ЗАГСе, это был амулет, он должен был помочь не потеряться. Такая вера была в регистрацию, в аттестат, ничего другого в нашем распоряжении не было. Бога у нас не было, его заменяла любовь, потом мой лейтенант узнает, что Бог это и есть любовь. Он думал о себе. Она думала о нем. Интересно было изучить тех, кто выжил на войне — были они любимы или нет, какую роль играла любовь в годы войны, любовь матери, любовь жены, скольких она спасла?

Их любовь ещё не окрепла, процесс кристаллизации не закончился. Если бы ему сообщили, сколько ему суждено прожить в этом браке, он бы неприятно удивился. Знать заранее судьбу своей любви губительно. Приятно заверять друг друга — «Наша любовь навеки, только смерть нас разлучит». А попробуйте показать жениху или новенькому мужу их фотографию сорок лет спустя — тяжёлое зрелище. Брак, он не хочет выглядеть как приговор.

Этот парнишка, которому дадут командовать танковой ротой, с трудом мне напоминал себя самого. Он держался преувеличенно спокойно, отвечал на вопросы не сразу, старался сохранять дистанцию со своими взводными. Когда они ему что-то предлагали, просили, он не сразу отвечал. «Ты думаешь?», при этом щурился, разглядывая, как бы оценивая говорившего с ним. Теперь-то я уличил его, он явно подражал своему бывшему комбату. Своему первому комбату Литвинову, только у этого получалось естественней. Литвинов никогда не спешил с ответом, ему надо было обдумать, а этот делал вид, что обдумывает. Я ясно увидел спустя годы нарочитость его некоторых манер, впрочем, это постепенно проходило, появлялось что-то своё. Например, он сбивал с толку жаловавшегося на очередную глупость наших штабистов: «А хочешь конфетку? — и вытаскивал из кармана какую-нибудь карамельку. — Бери-бери, не стесняйся».

Взводные подняли шум, когда в Туле нам не выдали полный боекомплект снарядов, сказали, получите на фронте. Они были новички, они понятия не имели про тот бардак, который творился в армии в первые месяцы войны. Сейчас было кое-как, но организовано, а тогда у нас взяли несколько офицеров, отправили на курсы повышения квалификации в Кронштадт и выдали им парадные формы, чтобы через месяц участвовать в параде Победы. Представляете себе? Это было 4 июля 1941 года, после речи Молотова. Когда я рассказывал своим взводным об этом, на них это не произвело никакого впечатления, для них это было уже далёкое прошлое.

### *Перипетии*

У комиссара Елизарова все выходило как-то двусмысленно, никогда я не встречал подобных комиссаров, другие комиссары выражались как-то определенно, так, что их слова можно было повторять. Елизаров, например, мог рассказать, как мы здорово сорвали план Гитлера, а потом вдруг оборонить: «И что получилось?».

То, что говорил комбат, надо было выполнять, то, что говорил комиссар, надо было понимать. А я не понимал, если же начинал понимать, то в голове у меня все срывалось со своих мест.

В землянке Елизарова висели маленькие плакатики: «Военная тайна не в том, что вы знаете, а в том, что вы ничего не знаете», «Война будет идти без перерыва, пока не закончится», как бы цитата. Чье-то изречение. Из-за этой надписи разгорелся сыр-бор.

Наш особист Баскаков давно приглядывался к комиссару, не получалось у них согласованности, высказывания комиссара беспокоили, они не соответствовали установкам, были скользкие, неясные. На предателя, на вражеского пособника комиссар не походил — рыхлый, большой, квашня. У Баскакова было точное представление, как должен выглядеть двурушник или идейно нестойкий элемент, прежде всего, это интеллигент. Елизаров интеллигентом не был, ни образования, ни диплома. Доносить на комиссара было непросто, можно было самому загреметь, к тому же тут еще ЧП подвалило: к немцам два солдата-узбека перешли, один из них был осведомителем у Баскакова. А выяснилось это — через громкоговоритель немцы не без

юмора оповестили весь передний край, как боец Усманов решил лучше сдаться немцам в плен, чем работать осведомителем на капитана Баскакова, тем более, что от Баскакова не было никакой радости, ни булки, ни конфет, одни угрозы. Осрамили наш батальон на весь фронт. Думали, что Баскакова немедленно уберут, не убрали. Елизаров сказал: «Мы решим сами, противник хочет дискредитировать товарища Баскакова, не дадим. Может, Усманов на самом деле был заслан Баскаковым». Так или нет, кто знает, тут ведь вся соль заключалась в интонациях Елизарова, в морщинках бледной, тестообразной его физиономии, в многоточиях. И раньше Елизаров вывешивал плакатики, и никак Баскаков не мог уцепиться: «Турки падают, как чурки, а наши, слава богу, стоят без головы», «Мы можем быстрее победить, если экономить на командирах».

Ночью над городом взлетали ракеты, было видно, как пожары выжирают нутро города. Высшее образование причиняло мне неприятности, солдату оно ни к чему, откопают где-нибудь кабель — вызывают меня: нельзя ли по по нему пустить электричество для освещения, осветить все землянки.

— Позвольте, а где ж я вам возьму электричество?

— А ты покумекай, тебя пять лет учили, инженер хренов.

Елизаров просил мягко, со вздохом — будь ласков, наладь отопление землянки так, чтобы не демаскировать ее.

Я утешался, сочиняя присказки: «Рядовому интеграл нужен так, как в супе кал».

Елизаров любил рассказывать про русских солдат царской армии. Сапоги у них были из натуральной кожи, ремни кожаные, рубахи льняные. Опять получалось двусмысленно, вместо прославления русского оружия он вроде прославлял царские порядки.

Комбат любил читать. Из Пулковских подвалов я приносил ему комплекты дореволюционного «Огонька», «Нивы», подшивку журнала «30 дней».

При мне к комбату вбежал адъютант с криком, что немцы ворвались в расположение первой роты. Комбат вынул спичку изо рта, заложил страницу книги, сказал: «Я же предупреждал ротного. Пошлите туда автоматчиков». Его тон отрезвил и адъютанта. Ни разу не видел его растерянным, в неправдоподобном его спокойствии был

привкус ленцы, усмешки над нашей суетностью. Посещая роты, он не прятался при обстреле, пригибался, выжидая, мог упасть на землю, поднимался чистенький, на посвисты пуль не обращал внимания. В боевое охранение приползал, полз быстро, как ящерица, изгибаясь вертким телом. Рядом с ним никого не ранило. «Заговоренный, — завидовали офицеры, — ему что, ему легко воевать». Командование поощряло тех, кто атаковал, кладя своих без счета, отчитывались не своими потерями, а потерями противника, сколько немцев вывели из строя.

Комиссар Елизаров собрал нас и сказал: «Фашисты воюют с Советским Союзом, потому что ненавидят коммунистическую идею. Они ненавидят прежде всего коммунистов».

Мы сидели в его землянке, набилось человек шесть, он собрал молодых, еще крепких, хотя мы тоже еле волочились.

Елизаров хотел, чтобы мы вступили в партию. К этому времени возможности удерживать оборону становилось все меньше, сменять часовых было некому. Витя Ломоносов сказал, что ему в партию нельзя, он из раскулаченных, я тоже спросил, могу ли я, у меня отца выслали, он лишенец, меня за это в комсомол не приняли. «Ничего, — сказал Елизаров, — сейчас положение другое».

Речь его стала вдохновенной. Ныне вступить в партию, считал он, это душевный подвиг, это требует бесстрашия. Если погибать, то с гимном, во имя идеи, как борцы с фашизмом, как защитники советской земли.

Среди нас были один грузин и один украинец. Поэтому он говорил о советской земле, а не о русской. Голос его дрожал, он каждого поцеловал в темечко, и мы тоже расчувствовались.

### *Расстрел*

Нас выстроили на зеленой поляне буквой «П», посередине поставили столик, кого-то ждали. Члены трибунала, их было трое, уселись на скамейке. Воцарилась тишина. Трое приговоренных стояли, привязанные к одной жердине. Приехал член Военного совета. Председатель трибунала встал и зачитал приговор: «Одного расстрелять за самострел, второго — за трусость, бегство с поля боя и

паникерство, третьего — за намерение перейти к немцам». Они стояли тут же, руки назад, гимнастерки без ремней, жердину выдернули, связанные руки остались за спинами.

Одного из них, в роговых очках, кажется, из библиотечного института, я знал. Говорили, что он первый закричал об окружении, из-за него началась паника. В своих показаниях он сказал, что хотел обратить внимание на зашедших в тыл автоматчиков. Второй, совсем молоденький, стрельнул себе в руку, на третий день после того, как прибыл к нам. Приставил ладонь к дулу карабина, так что его сразу уличили по ожогу. Третий, кажется, таджик, уговаривал своих товарищей перейти к немцам.

Им завязали глаза, появилась команда, ее называли «расстрельная», во главе с капитаном. Он скомандовал, они подняли винтовки, и тут этот мой знакомый в очках зарыдал и закричал невыносимо по-детски тонким голосом. Капитан на какой-то момент растерялся, потом подскочил к нему, гаркнул: «Молчать!». Тот вздрогнул, замолчал, затем раздалась команда и неровный залп. Я стоял, закрыв глаза, я слышал, как в каждого еще кто-то выстрелил. Я стоял, закрыв глаза. Члены трибунала расписались.

Когда я открыл глаза, члены трибунала еще что-то писали. Трупы не убирали и нас не отпускали. Рядом со мной стоял Женя Левашов. Я спросил его:

— Чего это они?

— Оформляют. Под копирку, иначе на тот свет не примут, там требуют два экземпляра. А ты отчего это глаза закрывал?

— Не могу смотреть. Жалко ребят, они со страху.

— А нас тебе не жалко? Тут хоть сразу наповал, гуманно. Ишь как пишут. Некрофаги.

Похоже, казнь на него не произвела впечатления, да и на остальных. Процедура выглядела как деловая — просто списывают негодных. Или отчисляют.

— Это нам в назидание, — продолжал Женя Левашов. — Мы вас научим родину любить. А что такое родина, где она?

Это была его излюбленная тема, отец у него был дорожный мастер или инженер, и они болтались по стране, построят дорогу — и едут в другое место. Женя никакой родины не признавал, поскольку не

чувствовал. Он рассуждал так: «Воевать лучше не за родину, а за справедливость, "родина" — понятие абстрактное».

Лохматый, смешливый, недоучившийся инженер, он был талантливым изобретателем. Непонятно, как его занесло к нам в ополчение. Такие таланты редкость, их нельзя брать в армию. Он с фронта посылал одно за другим свои предложения. Предложил поднимать маленькие аэростаты для защиты ленинградского неба, но произошла неприятность — один из наших самолетов напоролся на невидимый тросик, кто-то вовремя не убрал, и грохнулся. Женю самого чуть не отдали под трибунал.

### *Куда мы уходим*

За спиной еле обозначенный горизонт был пуст, ни одного огонька не светило из огромного города. Изредка вспыхивали прожектора, гасли, мороз 35°, надо было растирать щеки, нос, топтаться, идти по траншее свои сто метров, туда — назад. У меня еще на шее выскочило два фурункула, воротник шинели давил, натирал, боль была невыносимая. Командир полка на строевом смотре обрушился на меня за расстегнутую гимнастерку: «Это что за расхристанный вид? Что позволяешь себе?», — и пошел: «Банрот, банрот», — было у него такое сокращенное до предела ругательство. Фурункулами страдали многие, попался же первым я, получил наряд вне очереди. Полковнику разъяснил, в чем дело, но наряд не отменили, потому что начальство не могло ошибаться.

Пришло письмо из Челябинска от Риммы. Нежданно-негаданно. Она узнала от заводских, что творится на нашем фронте. Никак не думала, что и у нас на передовой голодно.

Ее, видать, захватило всеобщее сочувствие к осажденному городу. О нашей размолвке она не вспоминала. Хвалила за то, что держимся, подаем пример другим городам. Она никак не думала, что мы так не готовы к войне. Что можно делать танки в цехах, где еще нет стен. Газеты пишут про героев на фронте и в тылу.

Чтобы танки выпускать, нужны не герои, а мастера. Приходится все время совершать подвиги. Подвигами исправляют аварии, брак, невежество конструкторов...

И дальше много о заводских делах. В этом был намек: «Видишь, как тебя не хватает». Образец письма солдату на фронт. Я выругался. Но все же был рад, что написала.

Мельком упоминала, что ее выдвинули начальником какого-то отдела. Кончалось же не «целую», а «обнимаю». Что-то между любовным и товарищеским. Обида еще не прошла.

Пришло второе письмо, потеплее. Я отвечал, сперва было попробовал рассказать про наше житье. Но, как понял из ее ответа, цензура все «такое» вымарала. «Такого» было много, не только про голодуху и стрельбу. О многом в тылу не догадывались. Был окопный быт, и тяжелый, и забавный. Боевое охранение, выдвинутое вперед, окопалось кое-где поближе к немецким окопам. Так что слышен стал немецкий разговор, как они звякают посудой, чего делают. Немцы стали звать к себе: «Русский, ходи к нам булка кушать». Переходили. По двое, по трое. Немцы с самолетов разбрасывали пропуска. На нейтралке был овраг, там появился невесть как черный рынок. Оставляли друг другу, а может, кидали. Немцы меняли свою булку на махорку. Нравилось им крепкое наше курево. Для нас булка была почти лакомством. Еще их прельщала водка, валенки, кремневые самодельные зажигалки. У них выменивали куски туалетного мыла, мазь от чирьев, писчую бумагу. Писать было не на чем. Тетрадки кончились. О конвертах и не мечтали. Бумага была у комбата и комиссара для каких-то отчетов и у особистов для донесений.

Время от времени нам присылали лекторов. Они отвечали на вопросы и поднимали настроение. Зима длилась бесконечно. Ночи становились все длиннее, морозы крепчали, добывать дрова для обогрева было все труднее. Батальон таял. То есть состав убывал. По разным причинам. Обстрел. Дистрофия плюс цинга плюс фурункулез. Были переходы к немцам. Плюс обморожение. Иногда мне хотелось плакать. Что-то накапливалось. Не что-то, а беспросветность существования, которое должно было закончиться либо ранением, либо смертью. Ничего другого было не различить. Вместо будущего был тупик. Да, конечно, где-то вдали был прорыв блокады, наступление, победа, но не в той реальности, в которой я жил. Честно говоря, некоторые лекторы из политотдела помогали. На какие-то часы они обновляли надежды на второй фронт. Воодушевила нас победа под

Москвой. Мешало вранье. Врали безбожно, приводили абсурдные цифры немецких потерь, сбитых самолетов, захваченных орудий. У них были цифры, у нас ощущение. Мы-то видели, если самолет удавалось сбить, нечасто, хотя они дважды в день летали над нами бомбить Ленинград, то сбитый приписывали себе и зенитчики, и соседний полк, и мы тоже. В донесениях получалось три, а то и больше. Донесения шли по разным ведомствам, как проверить сообщения снайперов, артиллеристов? Начальники, и малые, и большие, не стесняясь, рапортовали об успехах, пользуясь малейшим поводом.

Как-то очередным лектором из Политуправления оказался Ермаков. В петлицах у него была шпала — старший политрук. Он обнял меня, от избытка чувств расцеловал. Был так же грузен, теперь это выглядело солидностью, белый полушубок, бурки, это вам не б/у. Он стал еще добродушнее, веселее. Наспех сказал, что, когда ополчение расформировали, его послали на курсы и после них определили в группу лекторов, аж фронтовую. Лекция была не ахти, изругал, как положено, американцев и англичан за то, что тянут со вторым фронтом, расписал ряд подвигов наших партизан и солдат, еще о том, как у нас растет производство самолетов.

Ничего особо нового, но без пафоса, простецки, доверительно, как-то по-приятельски.

После лекции полагался чай у комбата. Саша позвал меня, показав привезенную бутылку немецкого шнапса. Трофейного. Высший сорт. Еще пригласили моего приятеля артиллерийского техника Володю Лаврентьева. Володя славился в батальоне, он пел под гитару романсы. Не просто романсы, а эмигрантский репертуар — Лещенко, Баяновой и больше всего Вертинского. Володя был главной достопримечательностью батальона. Комбат прятал Володю от начальства. Я поручился за Ермакова — не выдаст. Мне хотелось угостить его, Вертинский действовал на меня безотказно, прямо-таки брал за душу. Среди этой грязи, вшей появлялся бананово-лимонный Сингапур, над розовым морем блистает луна, во льду зеленеет бутылка вина, какая-то гавайская гитара. Боже ты мой, голос у Вертинского слабый, но слух абсолютный и такое нездешнее чувство.

Мы жили тогда в одной землянке, Володя, низкорослый крепыш, до войны играл в футбольной команде «Динамо». Женился за полгода до

войны, но что-то у него не сложилось. Тосковал, злился, выпивал, старался не думать о будущем.

У комбата был спирт, я его не разбавлял, а запивал водой. Кажется, Вертинский был под запретом. Не знаю. Список «запретных» тоже был под запретом, секретным. Володе его футбольные болельщики подарили набор пластинок, которые делали для больших начальников. С этих пластинок, черных, эбонитовых, он запомнил, перенял. Он мне напевал авторское, а потом свое, свою раскраску, и она на меня действовала еще сильнее.

Сегодня Володя был в ударе.

*Мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду,  
Уже виноградные кисти чернеют в забытом саду.  
Я жду Вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне...*

Неужели где-то есть такая красивая любовь, такая жизнь...

*Уже опустели террасы,  
Из пляжа кабинки снесли.  
И утром рыбачьи баркасы  
В открытое море ушли.*

Ермаков расчувствовался, обнял Володю, поцеловал. В глазах стояли слезы. «Боже ты мой, боже ты мой», — повторял он. И от его слез, и от спирта мы все тоже размякли, было хорошо, как давно не было.

У нас в землянке мы долго разговаривали, расспрашивали Ермакова про американскую тушенку и другие продукты по ленд-лизу. Слух был, что где-то дают шоколад. Большие глыбы, их рубят лопатками.

Спросил кто-то, почему Жданов не выезжает на фронт? «А зачем он тебе?» — сказал Ермаков, и все замолчали. Лаврентьев рассказал, как его пригласили к начальству с гитарой. Все с утра поддают, что полковники, что генералы. Не стесняются. Ермаков признал — не без этого. Туго им приходится. Сверху давят — можно, нельзя, один хрен — давай наступай. Снизу в частях требуют артиллерию, снаряды, пополнения — и связистов, и медиков. Хочешь не хочешь, запьешь. Под это дело мы еще приняли, запели уже свое привычное:

*От тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильнее...*

А дальше грянул припев «Последний смертный бой». Давно я заметил, как из песни в песню повторялось: «Последний решительный», такая была надежда. Еще в Гражданскую, и мы теперь опять в последний бой.

Меня отпустили провожать Ермакова до заставы. Дождались темноты. Я рассказал Саше про Мерзона, он мне про Алимова. Встретились тоже, как со мной, в соседней дивизии. Алимов был сильно отощавший, и произошел у них интересный разговор. Алимов напомнил Ермакову, как тот тащил нас в Ленинград, отговорил остаться у танкистов и что получилось. Настоящей войны нет, есть подыхание. Шел воевать, вместо этого как собака подохну. Немцы обещают по радио — плов, шашлык, каши от пуза — слушать невозможно. Переходят. Изменники, конечно, да только неохота вот так без пользы погибать.

Ермаков договорился, чтоб его в госпиталь без очереди направили. Потом говорили про Алимова всякое — то ли он умер от дистрофии, то ли пропал. Может, действительно, к немцам подался.

Сообщил это Саша возмущенно, и мы заспорили. По-моему, голод довести может до чего угодно. Голод никаких запретов не оставляет, на прошлой неделе мы гнилую конину ели, пока варили, чуть не стошнило, а потом еще соли добавили и ели. Ермаков помолчал, потом достал завернутый в бумагу кусок сахара и дал мне.

Мы вышли из траншеи на изрытую снарядами дорогу.

— Ты помнишь Таисию? — спросил Ермаков. — Я не могу забыть ее. Знаешь, она мне сказала, что у нее никогда не было такого мужика, как я. Что ты думаешь? — и, не дожидаясь ответа, сказал: — Мне почему-то кажется, она от меня понесла... Хочу попроситься в партизанский отряд направить меня. В Новгородчину. Я узнавал. Боюсь одного, оттуда угоняли в Германию...

— Неужели так она запала? — сказал я.

— Ночь была большая, — Ермаков помолчал. — Не знаю, что делать. Не думал, что так получится.

Сколько мне тогда было — за двадцать. А ему тридцать, большая разница.

От выпитого его развезло, я, хоть закуси настоящей не было, держался и Ермакова держал под руку, чтобы в темноте не грохнулся.

— Упустил, боже ты мой, раз в жизни повезло, и упустил, дурак я, - повторял он.

Горе его не пьяное, настоящее, такое, что стало жаль его. Помочь нечем, и от этого еще жалче.

— А ведь мог, точно мог! — вдруг воскликнул он.

Мог он взять ее с собой, в город, вместе с нами. Чепуха, конечно, мы сами не знали, куда идем, но сейчас он травил себя этой придуманной виной.

Пройдет, пройдет и это, такая у меня была тогда присказка: «Все пройдет зимой холодной!». Она годилась для всех случаев, для любых огорчений нашей голодухи, кое-как прикрытой шинелью б/у. Вдруг что-то прояснилось мне такое, что не проходит, как у Ермакова — сломанность жизни. Бывает ли такое, я не знал, не верил, но тут возник Ермаков, потухший, старый, облезлый, каким он будет. Так со мной было однажды — мать сидела у печки, отсвет огня пробежал по ее лицу, я увидел ее седой старухой. Это было страшно.

Назад я шел с куском сахара за щекой, приговаривая: «Все пройдет, пройдет и это». Жизнь фронтовая, она не для грусти, уныния и прочих нюансов.

Инженерной службы в батальоне не было, ее обязанности исполнял я. Так получилось. Поскольку имел диплом. Придумал, как вытащить из болота самоходку. Было у нас два танка БТ, помог превратить их в огневые точки. Закопали в землю, только башня осталась с пулеметом. Башня вертелась во все стороны, стреляй, куда хочешь. Для крупнокалиберного пулемета я приспособил вентиляцию. Получилось неплохо. Это окончательно рассорило меня с начальником артиллерии. Карпенко, старший лейтенант, кадровик, матерщинник, почему-то с самого начала невзлюбил меня, а я его. Бывает. И чем дальше, тем хуже. Он мне на «ты», и я ему тем же. Он с жалобой к комбату. Меня вызывает комбат: не положено старшему тыкать. А младшему, говорю, положено? В уставе вообще об этом ни слова. Комбат наш был тоже кадровый, устав знал, привержен. Действительно, не сказано.

Начарт любил слушать пение Володи Лаврентьева, ходить же к нам в землянку не хотел. Из-за меня. Приглашал Володю к себе. Володя

отказывался. Говорил, что у Карпенко в землянке не та акустика. Начарт злился, чепуха, какая может быть в землянке акустика.

### **Пленные**

Ночью было видно, как горел Ленинград. Издали пламя казалось безобидным и крохотным. Первые дни мы гадали и спорили: где пожар, что горит — и каждый думал про свой дом, но мы никогда не были уверены до конца, потому что на горизонте город не имел глубины. Он имел только профиль, вырезанный из тени. Прошел месяц октябрь, затем еще, еще... Город все еще горел, и мы старались не оглядываться. Мы все так же сидели в окопах под Пушкином. Передний край немцев выступал клином, острие клина подходило к нашему взводу совсем близко, метров на полтора. Когда оттуда дул ветер, слышно было, как выскребывают консервные банки. От этих звуков нас подташнивало. Сперва казалось, что к голоду привыкнуть нельзя. Но теперь это чувство притупилось, во рту все время ныло. Десны опухли, они были как ватные. Шинель, винтовка, даже шапка становились с каждым днем тяжелее. Все становилось тяжелее, кроме пайки хлеба.

И еще мы слышали голоса немцев. Отдельные слова. Были слова, которые почему-то доносились к нам целиком. Когда-то я любил немецкий язык, мне он легко давался. Наверное, у меня была хорошая память. А может, у меня были способности. Елена Карловна ходила между партами — милая, чистая старушка с лиловыми щечками. «Уберите свои грязные ноги». Ботинки у меня были всегда грязные. И сейчас сапоги тоже грязные, в обмерзлой глине.

Кирзовые сапоги промерзли насквозь. Пальцы на правой ноге болели, обмороженные. Я шагал, ступая на пятку. У хода, ведущего к землянке, мы встречались с Трущенко, медленно поворачивались и шли обратно, каждый по своему участку. На таком морозе нельзя было останавливаться. У Трущенко тоже были обморожены ноги и руки. Нам полагались валенки. У нас во взводе была одна пара валенок. Мы отдали ее Максимову. Он добывал мороженую картошку. Откуда он ее выкапывал, неизвестно. Он уходил с вечера и возвращался с несколькими картофелинами.

Никогда я не слышал, чтобы снег так громко скрипел. Он вопил под ногами.

Прошлой зимой мы уезжали в Кавголово кататься на лыжах. Мокрый снег шипел под ногами, не было никакого скольжения, и мы мечтали о морозе.

Неужели все это было? И я спал в постели на простынях, и мать утром будила меня.

Я пошел назад. Я шел, держась за мерзлые стены окопа, потому что кружилась голова.

Какое отношение я имел к тому парню, который учил этот проклятый немецкий, ходил на лыжах, носил полосатую футболку, ездил трамваем в институт? Никакого отношения я к нему не имел. Мы были совсем чужие люди. Я знал все, что он делал, но никак не мог понять, почему он так делал и почему он так жил. А он и вовсе не знал меня. Прошное отдиралось слоями, как капустные листья. Неужели, если я выживу, я опять стану другим, и все это — окопы, голодуха — останется лишь воспоминанием о ком-то, кто воевал под Пушкином? Мы сошлись с Трущенко и, дождавшись, когда немцы пустили ракету, смотрели друг у друга лица, нет ли белых пятен. Когда ракета погасла, мы услышали голоса. Оттуда. В темноте почему-то лучше слышно.

Голоса доносились не из немецких окопов, ближе. Странно было, что разговаривали не таясь, весело. Мы поднялись на приступку и сквозь снег увидели двоих, две тени. Они двигались прямо на нас. Они шли во весь рост, один большой, другой поменьше. Они обнимались, притоптывали и что-то кричали, не нам, и, а себе.

Мы подняли винтовки. Взлетели ракеты. Мерцающий свет посыпался на этих двоих; они приближались к нам, они были совсем рядом, на низеньком была голубиная офицерская шинель с меховым воротником.

Трущенко прицелился — я остановил его. Он сперва не понял, а потом понял, и мы стали ждать.

Высокий поддерживал маленького, свободными руками они дирижировали себе и орали какую-то песню про Лизхен.

— Стой! Хальт! — закричал я.

Трущенко толкнул меня:

— Чего орешь?

Я и сам не знаю, зачем я крикнул. Но немцы и ухом не повели. Они вскарабкались на бруствер и свалились к нам в окоп. Мы наставили на них винтовки: «Хенде Хох!» Они ползали по дну траншеи, не обращая на нас никакого внимания, и ругались. Когда солдат ругается, это всегда понятно, на каком бы языке он ни ругался.

— Ох и нализались! — сказал Трущенко. — Мать честная!

Прибежал взводный, мы доложили ему про немцев. Взводный приподнял офицера за воротник и разозлился.

— Что вы мне брешете, — закричал он, — там же заминировано!

Мы ничего не могли ему объяснить. Нейтральная была заминирована нашими еще осенью, потом ее минировали немцы, потом снова наши. Ее минировали без конца. Она была вся утыкана минами; как прошли по ней эти двое, никто не понимал.

Взводный приказал тащить немцев в землянку. Лейтенанта кое-как доволокли, а с ефрейтором мы замучились. В узком окопе его никак было не ухватить. Чуть его стукнешь — он сразу начинал петь. Голосище у него здоровенный.

Он висел на нас, обнимал за шеи и вопил эту идиотскую песню про Лизхен.

В землянке мы свалили их на пол, и они сразу захрапели, даже не чувствовали, как взводный обыскивал их. Максимов дал мне ломтик картошки. Она была гнилая. Я посасывал ее осторожно, что не тянуть кровь из десен. Ребята спорили, зачтут ли нам с Трущенко этих двоих как пойманных «языков». За каждого «языка» обещали звездочку или по крайней мере медаль.

Ефрейтор храпел, распустив губы, блаженный, краснощекий. Лейтенант свернулся калачиком, положил голову ему на живот. Максимов присел перед ними на корточки, потянул носом.

— Не иначе как ром, — сказал он. — Вот сволочи!

От них пахло кисло и сытно. От этого запаха мутило.

— Выкинуть их на мороз! — сказал кто-то. Их бы и выкинули, но ни у кого сил не было. Проснулся я, когда взводный будил немцев.

Первым заворочался ефрейтор. Он застонал, отодвинул лейтенанта, сел и уставился на нас без всякого смысла и выражения. Голова лейтенанта стукнулась об пол, и лейтенант тоже проснулся. Он долго потягивался, зевал. Потом повернулся на бок и увидел нас. В землянку набилось много народу. Все молчали. Трущенко рядом со мной тихо

закашлялся, зажал рот рукой. Лейтенант тупо посмотрел в его сторону и вдруг засмеялся. Медленно, зябко так засмеялся. Потом поднял руку в перчатке, с любопытством оглядел ее, погрозил нам пальцем, сладко зевнул и снова улегся спать. Ефрейтор схватил его за плечо:

— Русиш! Русиш зольдат!

Тут лейтенант подпрыгнул, вскочил на ноги, схватился за пистолет. И как это мы забыли разоружить его? Он выдернул свой вальтер, но ребята даже с места не стронулись. Командир роты в дверях. Он усмехался. И мы, тоже усмехаясь, смотрели на лейтенанта и ждали. Рука лейтенанта дрожала.

— Гут морген, — сказал капитан.

Все засмеялись. Тихо так засмеялись, и лейтенант тоже засмеялся. Тогда мы перестали смеяться и смотрели, как смеется он и разглядывали его красные десны. Лейтенант сморщился, потер голову. Видно, голова у него трещала. Он сказал несколько слов ефрейтору.

Ребята смотрели на меня. Неделю назад меня послали в штаб, там требовались переводчики. Я сказал, что не умею переводить. Я не хотел работать в штабе, возиться с пленными. Мне удалось отговориться, и ребята не выдавали меня, но теперь им очень хотелось узнать, что говорит лейтенант.

— Он сказал, что все это сон, что им снится глупый сон, — перевел я.

Лейтенант прислонился к стене, зевнул. Ефрейтор моргал, ничего не понимая, дурацкая у него была морда. Потом он начал икать и попросил пить.

— Болезный ты мой, — сказал Трущенко. — Опохмелиться тебе? Квасу тебе? Рассолу тебе? Из-под капустки? Вот тебе, сука! — И ткнул в лицо ефрейтору кукиш из лиловых, помороженных пальцев.

Тут все словно очнулись. Ефрейтор попятился к лейтенанту, глаза его от страха побелели, он схватился за грудь и стал блевать. Трущенко совсем зашелся, вырвал у лейтенанта пистолет, еле его оттащили.

— Дайте воды, — сказал ротный.

Котелок дрожал в руках ефрейтора, вода расплескивалась, он пил, отфыркивался, мотал головой, словно лошадь, а глаза его оставались белыми. Лейтенант сполз по стене и сидел в блевотине, покачиваясь из стороны в сторону, открывал глаза, и снова закрывал, и снова открывал, словно на что-то надеясь.

— Спроси, как они попали к нам, — приказал комбат.

Я спросил. Лейтенант, улыбаясь, закрыл глаза.

— Не понимают, — сказал я.

— Встать! — крикнул командир роты. — Смирно!

Он гаркнул так, что мы вскочили, и лейтенант вскочил и вытянулся, как и мы.

— Вот так-то, — сказал командир батальона. — А ты говоришь, не понимают. Отведете их в штаб.

Сопровождать приказали Максимову и мне. Нам передали пакет с документами. Я пробовал отговориться. Никто из нас не любил ходить в город. Но ротный сказал, что сопровождающий в должен на всякий случай знать их язык.

Новенький пышный снег завалил траншеи. Немцы, проваливаясь, шли впереди. Утро догоняло нас. Оно поднималось такое ясное, жгучее, что глазам было больно. В поле нас два раза обстреляли минометы. Мы падали в снег, и в последний раз, когда мы упали, я остался лежать. Максимов что-то говорил мне, а мне хотелось спать. Или хотя б еще немного полежать. Максимов ткнул меня ногой. Зрачки лейтенанта сузились, они быстро обегали меня, Максимова, пустынное белое поле и на краю этого поля развалины пушкинских домов, где сидели немцы и от которых мы ушли совсем недалеко.

Я поднялся и стряхнул снег с затвора.

Главное было перебраться через насыпь железной дороги. Взбирались мы осторожно, хоронясь от снайперов. Немцы ползли впереди, снег сыпался нам в лицо, над нами блестели кованые железками толстые подошвы. Максимов запыхался и отстал.

На полотне я прилег между липких от мороза рельсов. Немцы уже спустились вниз и ждали нас, а Максимов еще карабкался по насыпи; он махнул мне рукой: иди, мол, я отдышусь.

Немцы ждали меня у подножия насыпи. Я скатился прямо на них. Они расступились. Им ничего не стоило повалить меня, отобрать винтовку. Непонятно, почему они этого не делали. Ефрейтор

ожидаяще смотрел на лейтенанта, а тот стоял, закрыв глаза, потом он мучительно сморщился и открыл глаза.

Лейтенант ловил мой взгляд. Голова у меня стыла от мороза, и меня все сильнее тянуло в сон.

— Алкаши вонючие, сволочь фашистская, говорил я, — захватчики, выродки вы оголтелые!

Я крикнул Максиму. Я испугался, что он замерзнет. Максимов был удивительный старик. Никого я так не уважал, как Максимова. Он не прятал свой хлеб, утром отрезал кусок, съедал, а остальное клал на котелок и уходил в наряд. И кусок этот лежал на нарах до вечера. И все, кто был в землянке, старались не смотреть туда. Ругали Максимова и так и эдак, а потом сами начали оставлять свои пайки. Намучились, пока привыкли. Только Трущенко съедал сразу: чего оставлять, говорил он, а вдруг убьют.

Мы вышли на шоссе и двинулись прямо на город. Он был перед нами. Хочешь не хочешь, мы должны были смотреть, как он разворачивался впереди со своими шпилями, и трубами, и соборами, и дымными столбами пожарниц, поднимавшимися то там, то тут, такие толстые прямые колонны с завитками наверху.

Для немцев это, наверное, могло быть красивым зрелищем: и солнце в дыму, и искрящийся воздух. Но, пожалуй, им было не до красот. Шелестя, проносились над нами невидимые снаряды и взрывались где-то посреди города. Мы ощущали лишь глухой толчок земли. Сперва мягкий и, шелест над головой, потом удар. Воздух оставался чист, и небо оставалось голубым. Мы держали оборону, мы защищали город, а они все равно добирались туда через наши головы, они били, били каждое утро и после обеда, перемалывая город в камень.

Шоссе было пустынным. Мы держали винтовки наперевес. Я уже не чувствовал пальцев. Вряд ли я сумел бы выстрелить, если б немцы побежали. Они шли впереди. Они шагали так, что мы не поспевали за ними, и тогда я кричал «хальт». Они послушно останавливались, лейтенант ждал нас, сунув руки в карманы. Щека его побелела. Я хотел было сказать ему об этом, но разговаривать на морозе было больно. Завыла мина. Немцы бросились в снег. Я остался стоять, только сжался весь. Я чувствовал, что если лягу, то уже не поднимусь. И Максимов

остался стоять. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мина рванула метрах в ста. Снежная пыль и мерзлые комья земли.

За контрольным пунктом полегчало, стали попадаться встречные машины. Мы перекинули винтовки через плечо, и я сунул руки в карманы.

На фронте было шумно, а в городе совсем тихо, и чем дальше, тем тише. Мы забирались в скрипучую тишину. Солнце горело на стеклах. Мы шли посреди мостовой, потому что панели были завалены снегом и щебнем.

Подул ветер. Он продувал насквозь. От слабости мы были такими легкими, что казалось, ветер этот может унести и покатить нас по проспекту. Я взял Максимова за хлястик.

— Ты чего? — спросил он, а потом понял, потому что сам был такой же легкий и его тоже могло унести.

— Зайдем, — сказал он, и мы зашли передохнуть в трамвай. Он стоял, занесенный снегом, с открытой дверью. Мы вошли и сели на скамейки.

Зитцен зи, — сказал я, и немцы сели с нами. Напротив нас сидел замерзший старик. Каракулевый воротник его шубы был поднят. Наверное, тоже когда-то зашел сюда укрыться от ветра.

— Да, мы попались, капут, — сказал ефрейтор.

Лейтенант, не отводя замороженных глаз от старика, поднял воротник.

— О, mein Gott<sup>[1]</sup>. Ты дурак. Мы не могли попасться, всюду заминировано. А мы даже не ранены. — Лейтенант кивнул на старика — So das geht es nicht<sup>[2]</sup>.

Это была «девятка». Каждое утро я садился на «девятку» и ехал в институт. У Флюгова подсаживались наши ребята из общежития. В вагоне становилось тесно и жарко. А в детстве мы ездили с матерью в Лесотехническую академию к отцу. Он учился там на курсах лесников. Мы ехали на «девятке». Всю дорогу я смотрел в окно... Я открыл глаза и увидел замерзшего старика. Я закрыл глаза и увидел белый корпус института среди сосен.

Как бы далеко в прошлое я ни уезжал на этом трамвае, он все равно привозил меня сюда, в эту зиму. Никак я не смог спрыгнуть на ходу и остаться там, в парке.

Лейтенант покосился на меня и сказал громко:

— Ничего, Рихард, я проснусь, и окажется, что я лежу у Пранборта на диване.

Ефрейтор смотрел на него со страхом.

— А я? — тупо спросил он.

— А ты тоже пьяный, как свинья, валяешься в коридоре.

Он говорил это уверенно и серьезно, обращаясь больше ко мне. Ефрейтор пытался улыбаться, но в его выпученных глазах белел страх. Он ничего не понимал. Вдруг я заметил у лейтенанта странную маленькую улыбку, словно он догадался, о чем я думаю, подслушал. Это была уличающая улыбка, тайный знак соумышленника.

Я стиснул винтовку.

— Ах ты, подлец, — сказал я, — не надейся, ничего у тебя не получится!

— О чем речь? — спросил Максимов.

Я перевел ему. Тогда Максимов пристально стал разглядывать лейтенанта.

— Ловко придумал, гаденыш.

Маленькое лицо лейтенанта напряглось.

— Что он сказал, пожалуйста, я хочу знать, — обеспокоенно спросил он.

— Хитрите, вот что он сказал. — Я видел, как ефрейтор насторожился.

— А вы сами... разве это не сон... вы ведь тоже... — горячо начал лейтенант, но Максимов поднялся.

— Кончай разговор!

Выходя из трамвая, лейтенант потрогал свою белую щеку и, видимо не почувствовав, успокоился. Посреди улицы чернела большая воронка. Пришлось карабкаться по заснеженному завалу из кирпича и балок рухнувшей стены дома. А дом стоял как в разрезе. И перед нами были комната, стол, накрытый клеенкой, на столе блестела селедочница, а на стене висел портрет Ворошилова, грудь его была увешана орденами. Открытая дверь вела прямо в небо.

— Видишь! — обрадовано сказал лейтенант ефрейтору. — Видишь! — Он вытянулся, замахал руками, словно собираясь взлететь. — Видишь, видишь, что я говорил! — кричал он.

— Заткнись... ты! — сказал Максимов и стал снимать винтовку.

Лейтенант схватил меня за рукав так, что я пошатнулся, и заговорил быстро-быстро, заглядывая в лицо:

— Так не бывает. А может, вообще вся эта война приснилась. Мне часто снилась война в детстве. Aber andere Krieg<sup>[3]</sup>. Может, я проснусь и пойду в школу...

У него были совсем прозрачные, голубенькие глаза. «Господи, ему, наверное, тоже лет двадцать, — подумал я, — или двадцать пять. Наверное, только что из дому...»

На перекрестке среди развалин работали несколько женщин и подростков. Женщины были в ватных брюках, а мальчишки закутаны в платки. Они вытаскивали из-под развалин станок. Каким-то образом они подсунули полозья и теперь пытались сдвинуть станок. Седая, совсем прозрачная женщина тихо кричала: «А ну, взяли еще раз, еще разик!» — и голос ее был прозрачный. Все толкали станок, но ничего у них не получалось. Они мгновенно уставали и отдыхали, привалясь к станку, а женщина продолжала тихо кричать: «Еще разик!»

Максимов молча показал немцам на станок. Женщины расступились. Немцы уперлись в станину, и мы тоже. Полозья отодрались, скрипнули, тронулись, женщины подхватили веревки, впряглись.

Мальчик в беличьей шубе, подпоясанной скакалкой, приблизился к лейтенанту и стал разглядывать его ноги в начищенных голенищах. Осторожно коснулся его плотной шинели и тотчас отдернул руку, почти брезгливо отдернул и поспешил к женщинам, которые бесшумно удалялись от нас. Они шли, облепив станок, как будто он тащил их за собой, и приговаривали: «Еще разик, еще раз».

— Смотрите, фрицы, смотрите, — сказал Максимов. — Чтобы потом не обижались.

Я не стал им переводить, но лейтенант заговорил, он поминутно на ходу оборачивался ко мне, говорил, спотыкаясь о кирпичи, о выбоины, хватался за ефрейтора, выкрикивал, словно помешанный; я понимал уже не все, отдельные слова, обрывки фраз, но ему было все равно, он говорил не для меня.

- Unmoglih... Das Leben kann nicht so schecklich sein...Traum... Alles ist moglih... Bei Freud steht... Es ist nicht war... Ein Traum ist nicht strafbar... Habe kein Angst... Alles vergeht... Ich weip... Das wahre Leben ist Kindheit... Mein Onkei... Wir sitzen im Garten<sup>[4]</sup>...Мы обогнали

старуху. Она брела, опираясь на палку, нет, то была не палка, лакированная ножка столика. Девичьи золотисто-пепельные волосы свесились на ее закопченное лицо. Увидев немцев, женщина даже не удивилась, ничего не крикнула, она подняла палку, пошатнулась, я поддержал ее. Она могла только поднимать и опускать палку.

Ефрейтор закрыл голову руками. Лейтенант, не двигаясь, следил за ней, потом он взглянул на с торжеством.

— Боитесь, — сказал я. — Angst!

Внезапно я понял, что никак не могу доказать ему, что это не сон. Что б он ни видел, он будет твердить свое, и ничем его не убедить...

Ефрейтор вдруг не выдержал и закричал, и тогда я тоже закричал, замахнулся прикладом на лейтенанта, а ефрейтор ударил его.

Максимов выстрелил в воздух, какие-то бойцы выскочили из дота, растащили нас.

— Дурила ты, так тебя растак! — накинулся меня Максимов. — Под трибунал захотел?

Пусть он утешается. Иначе тронуться может, и приведем психа, какой с него «язык» будет?!

У лейтенанта текла кровь из носа, он не вытирал ее и, твердо глядя мне в глаза, говорил:

— И во сне бывает больно.

Максимов погнал его вперед. Теперь я шел рядом с ефрейтором, а лейтенант шел впереди и говорил громко, безостановочно, не обращая внимания на цыканье Максимова.

Голос его гудел в моей голове. Я плотнее завязал наушники, чтобы не слышать его. Если б я не знал языка!.. Хорошо было Максиму, он шел себе и шел и не обращал внимания на немца.

У самого штаба нам попались сани с мертвецами, уложенными в два ряда и прикрытыми брезентом. Внизу лежал труп молодой женщины. Волосы ее распустились, голова моталась, запрокинутая к небу. А над ней торчали чьи-то ноги, и сапоги стучали по лицу.

— Боже, сделай так, чтобы я проснулся! — хрипло взмолился лейтенант. — Я хочу проснуться. Это ведь все не со мной... Это не я!

— Смотри, смотри, — говорил Максимов.

В штабе мы сдали немцев дежурному и сели у печки в комнате связных. Я сразу задремал. Максимов меня еле растолкал и заставил выпить чаю и дал кусок сахара. Это он заработал у связных за рассказ

о немцах. Не знаю, чего он им наговорил. Я пил и смотрел в кружку, как тает и обваливается кусок сахара. Связные рассуждали: симулянт этот немец или он псих? Потом Максимов расспросил насчет второго фронта, когда его наконец откроют.

Под вечер мы собрались к себе, на передовую. Во дворе мы увидели наших немцев, их выводили после допроса. Ефрейтор посмотрел на меня и сказал:

— Он предал фюрера.

Лейтенант засмеялся. Обе щеки его были белые.

— Я свободен, — сказал он. — Пока я сплю, я свободен. Плевал я на всех. Schert euch Teufel!<sup>[5]</sup>

— Послушай, что ж это получается, — сказал я Максиму, — видишь, как он устроился?..

— А тебе-то что?

— Так нельзя. Он хочет, чтоб полегче... — сказал я. — Что ж это... я, мол, не я... Так, придурком, всякий может... Я стал снимать винтовку.

— Эх, ты, — сказал Максим, — свернул он тебе мозги.

Раздался крик, не знаю, кто кричал. Мы только увидели, как ефрейтор прыгнул на лейтенанта, повалил его, схватил за горло.

Был момент, другой, когда все — связные и конвойные — стояли и смотрели. Не то чтобы даже момент, а некоторое время стояли и смотрели. Ефрейтор был сволочь, фашист, но они его понимали, и им тоже хотелось, чтобы он вышиб наконец из лейтенанта весь этот бред, эту надежду на сон. Когда немцев растащили, я слышал, как ефрейтор бормотал:

— Задушу!.. Он у меня проснется...

Обратно мы шли долго и часто отдыхали. Мы прошли контрольный пункт, и я вспомнил про ордена: так мы и не спросили, дадут ли нам за а этих немцев ордена.

— А зачем тебе, — сказал Максим, — за такое дерьмо... Я этого лейтенанта сразу разоблачил.

— А как ты разоблачил?

— А когда в землянке он за пистолет схватился.

— Ну?

— Ну, и не выстрелил. Если во сне, почему б ему и не пострелять?

Мы свернули с шоссе. Утренние следы наши замело, снег лежал снова пушистый и ровный, как будто никто тут никогда не ходил.

— Конечно, страшно им, — сказал Максимов.

— А ты не боишься?

— Мне-то чего бояться?

— А я боюсь... Нет, я другого боюсь, — сказал я. — Что потом забуду все, вот чего боюсь...

Быстро темнело. Сзади захлопали зенитки, стало слышно, как бомбят город, и, наверное, горели дома.

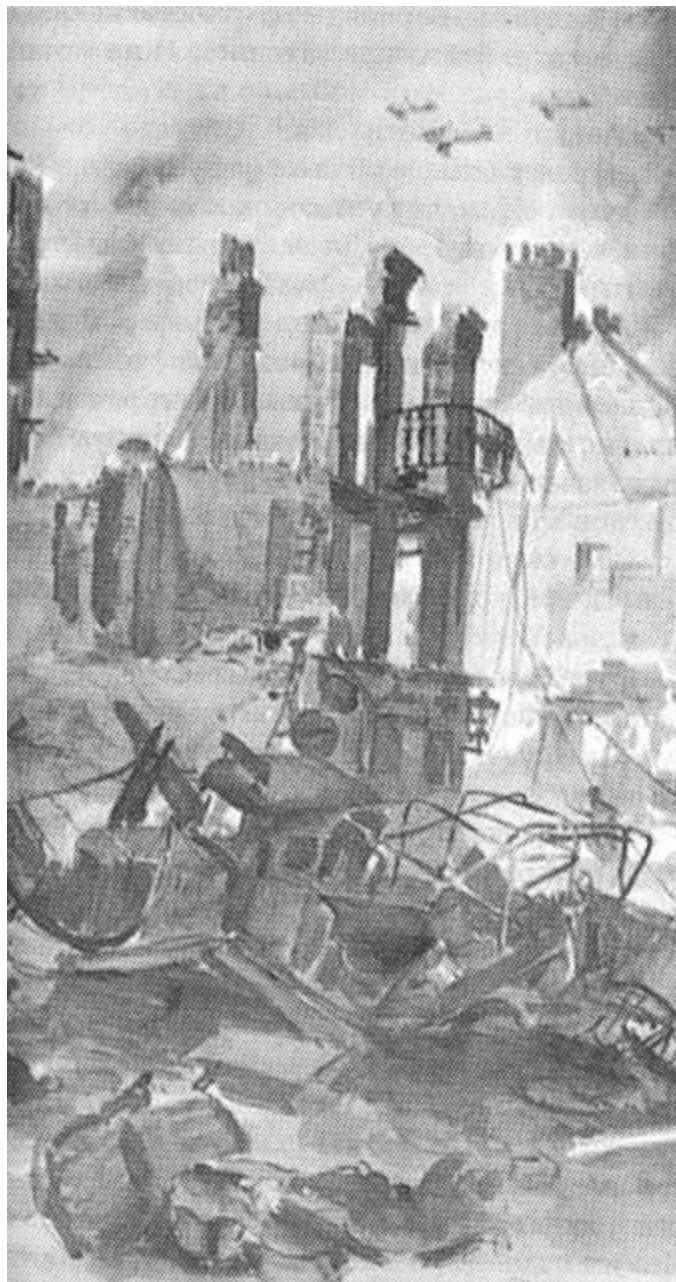
Мы не оборачивались. Иногда мы останавливались, отдыхали, и тогда я начинал думать про лейтенанта. Он не давал мне покоя.

— А что, если он и вправду вроде спит, — спросил я, — а потом проснется?

Максимов посмотрел на меня и сплюнул.

— Нет, ты подожди, — сказал я. — Вот у меня тоже бывает... только иначе, конечно... мне иногда кажется, что все это сон. — Я показал назад, на горящий город.

— Послушай, парень, — со злостью сказал Максимов, — ты лучше заткнись. И не мотай себя.



— Ладно, — согласился я.

Я старался больше об этом не думать. Я думал о том, что у нас в окопах все же полегче, чем тут, в городе, от нас хоть можно стрелять.

Я думал о том, что, когда мы доберемся до взвода, будет темно, и хорошо, что темно, не надо пригибаться; как мы хлебнем горячей баланды, ничего даже рассказывать не будем, а сразу завалимся спать.

*Смефучки*

«С того времени я, конечно, остался жив», — начинал Женя Левашов свою очередную байку. «Смефуечки из собственноручно пережитого».

— Когда война началась, я сразу же попросился на фронт. Я с детства любил играть в войну. А тут настоящая. Тем более, что мы должны были воевать на чужой территории. Это я твердо усвоил. На своей ни в коем случае. На чужой территории я никогда не был, тем более не воевал, но раз выдался такой случай, то малой кровью, могучим ударом опрокинем врага и посмотрим заграничную жизнь. Однако немцы до того торопились, что мы не успели попасть на их территорию, и они с разбегу очутились на нашей. Что им надо было — непонятно, попросили бы по-хорошему. Стреляли эти немцы в меня изо всех сил, поскольку я незаурядный стратег, изо всех орудий, да еще бомбили сверху. Ужас, сколько потратили бомб и пуль. Так и не попали. Я научился уворачиваться, опять же — стратег. Сам я в них долго не стрелял. Не из чего было. Дали мне одну гранату и бутылку с зажигательной смесью. Такое оружие годится только для подвига. Нормально воевать с ним невозможно. Не успели мы научиться как следует кидать эти бутылки, глядь, уже немцы под самым Ленинградом. Никто не объяснял нам, как это получилось. Тогда мы решили — хватит, и уперлись. Нам давно генералы и комиссары приказывали — ни шагу назад! Но нам нужно было научиться отступать. Настоящие солдаты должны уметь и наступать, и драпать. Тем более, что отступать нас когда-то учили и Петр, и Кутузов. Англичане тоже, у них традиция — проигрывать все сражения, кроме последнего.

Мы могли отступать еще быстрее, если б мы не останавливались. Чтобы сорвать немцам блицкриг. Сорвать мы сорвали, но тут до нас дошло, что хоть и сорвали, а можно проиграть войну. Кроме того, мы не хотели их пускать в Ленинград. Не хватало еще, чтобы в городе появилась свастика.

Пока мы отступали, выяснилось, что, кроме нас, с немцами воюют еще Англия, Америка и еще кто-то. Правда, воевали они незаметно, трудно было обнаружить. Они еще до нас стали воевать. Ихняя война называлась Вторая мировая. Они пообещали, что вскоре начнут воевать взаправду, откроют второй фронт. У них до нас фронта не было. Они воевали без фронта. Никак они не могли его открыть.

Сперва они в Африке стали воевать. В пустынях. Из-за чего воевать в пустыне, кому песок нужен? Потом попробовали высадиться в Европе — не получилось. Немцы их спихнули обратно в море. Тогда они уяснили себе, что немцев поколотить непросто, они, гады, воевать насобачились, обожают это дело. Мы воюем по-своему.

Мы тут пленного фрица допрашивали. У них перед боем в ихнюю партию не вступают, в атаку идти — не кричат «За Родину», «За Гитлера!». Как они обходятся? Все у них некорректно: отпуск положен солдатам и офицерам. На войне отпуск! Мы с этим пленным не могли найти общий язык. Он мне говорит, что нельзя воевать без кофе, без радиосвязи.

Я его спрашиваю:

— Как можно воевать без водки и без валенок?

Валенками я его сразил. Он какие-то рукава от полушубков приспособил на ноги, другие из соломы себе онучи мастерили, смотреть смешно. Или, к примеру, вопрос об отступлении. Мы полный курс прошли. Теперь можно начать наступать. А они... К зиме у них даже рукавиц нет. Говорит — мы на зимние условия не рассчитывали.

Летняя у них армия, выходит. Избаловались они в Европе.

Как Левашов говорил: «Для солдата все войны одинаковы. Отправляются они на тот свет по-разному — строим либо в одиночку, с винтовкой, с автоматом, с мечом, который там ни к чему. Рядовых принимают по очереди, не выясняют грехи. Погибший солдат безгрешен, не он затеял войну».

Он описывал доставку на тот свет подробно, будто переправлялся туда не раз. Между тем, за три месяца боев его даже не царапнуло.

Как-то Д. спросил его про командира автобата, жлоба и сквалыгу, который не дает машины выдернуть из болота сорокапятку.

— Он убит, — коротко сообщил Левашов. Д. удивился, Д. вчера говорил с ним по телефону.

— Убит, и навсегда, — подтвердил Левашов. Только ему никто не говорит, не хотят с ним связываться.

Этот мужик хвалился, что видел Сталина на мавзолее и требовал себе привилегии. Он, единственный из нас, удостоился лицезреть Сталина. Дохвастался до того, что его вызвал Баскаков, спросил — он

что, знаком с товарищем Сталиным?.. Тот, конечно, струхнул. «А то послушать тебя, так он твой кореш», — продолжал Баскаков.

И тот все больше пугался. Довели его. «До исчезновения личности» (Е. Левашов).

### ***Важный совет***

В марте прислали в батальон новую рацию и вместе с ней техника — лейтенанта Медведева начальником связи. Помогать ему комбат назначил Д.

Пожилой мужик, из Карелии, Медведев долго придирчиво допрашивал Д., кто такой, где учился, про родителей. Маленькие черничные его глазки исподлобья выглядывали подозрительно и прятались в тьму глазниц.

Собирали рацию, налаживали связь. Медведев учил Д. ставить антенны, была у него своя хитрая комбинация наружной антенны с рамочкой. Однажды он вдруг пробурчал хмуро: «Парень вроде толковый, а дурак».

Пояснил не сразу: незачем в анкетах писать про отца-лишенца, писал бы — работает в Сибири, и вся недолга. Репрессированных десятки тысяч, всех не проверишь, система давно уже захлебывается, сама себя перегрузила, да и вообще...

Можно так было понять, что проверяльщики, они, как все у нас, — халтурщики, работы у нас не ищут, «ретивая лошадка недолго живет». Насчет того, что все отвечают в анкетах честно, Медведев, скривясь, сплюнул длинной желто-табачной слюной. Народишко у нас холопский, пуганый, самодонсчики, прикажут — в петлю полезут.

Д. попросился к Медведеву в землянку. Заинтересовали непривычные рассуждения этого хмурого техника. А что, как дознаются, что будет? У Медведева все было продумано, сказать надо — писать про отца не стал, потому как знал, что органы наши разберутся, не потерпят несправедливости, оправдают. Слишком просто у него выходило, не такие уж там тупари сидят. Но и не такие умники, главное — не бойсь! Д. не удержался, спросил, откуда Медведеву известно, проверял он, что ли? «Может, и проверял», — буркнул и завалился на нары спать. Такое правило у него было — как ляжет на нары, так не беспокоить. Водки не пил, порцию свою отдавал

мне выменивать на курево. Курить выходил из землянки, деликатно вел себя, деликатностью этой отгораживался от всех. Как-то вдруг признался, что сам он из раскулаченных, жили они под Петрозаводском, имели две коровы, по тем нормам излишек, к тому же изба была с мезонином. Мезонин и подкузьмил.

Откровенность техника подкупала, Д. решил поделиться с ним сомнениями, которые распирали его. Неужто за четыре месяца войны наши истребили и взяли в плен четыре с половиной миллиона немцев? Так и политрук, и комиссар батальона товарищ Елизаров цитировали слова Сталина. Выходит, это почти половина всей фашистской армии.

Темная, словно запеченная физиономия Медведева еще сильнее сморщилась, не поймешь, то ли усмешка, то ли удивление.

— Смотри-ка, что-то варит твой котелок.

Дальнейшее потрясло как ничто другое.

— Брехня, врет Сталин, за придурков нас держит. Бегом бежали, отступая, Украину сдали, Беларусь и четыре с половиной миллиона ухайдакали на бегу!

Говорил он бестрепетно, полным голосом, словно о каком-то ротном трепаче. Слышать такое про Сталина было неприятно. Не останавливаясь, Медведев заодно высмеял вождя по поводу преимущества немцев от внезапного нападения. Что, они должны были за месяц сообщить, какого числа нападут? Для чего тогда разведки, для чего вообще армию держать? Рассуждения эти приводили недавнего студента в состояние ужаса и восторга одновременно. Неожиданно осмелев, он признался: непонятно ему высказывание, что наша авиация лучше немецкой. Если лучше, то почему нас бомбят немцы и безнаказанно?

— Смотрите, господа, лед тронулся, — объявил Медведев. — Может, теперь пойдет.

Испытывали новую рацию в развалинах обсерватории. Забрались повыше, Медведев уселся с наушниками, настраивал, настраивал, вдруг замер, замахал рукой, останавливая меня, покачал головой, пояснил, что поймал немецкую передачу, там приводили выступление Гитлера в октябре — нет, мол, смысла обещать вам, что мы победим Советский Союз, мы его уже победили! «Тоже брехун». Знание немецкого Медведев скрывал, боялся, чтобы его не взяли куда-нибудь в политотдел допрашивать пленных или вести пропаганду.

Вообще, он удивлял меня своими историями, запомнилась такая. Прославленного стахановца 30-х годов Бусыгина попросили выступить на Всесоюзном совещании, он отказался. Его бригаду сформировали для показухи, а завод работает плохо. Доложили Орджоникидзе, он вызвал Бусыгина, выслушал, сказал: «Идем к Сталину, доложишь, почему не хочешь выступать». Тот выложил про развал на заводе. Сталин сказал: «Выступать надо, всю правду рассказать». Так Бусыгин и сделал. Искреннее его выступление вызвало овацию. Через несколько дней все руководство сняли, отдали под суд. Кого расстреляли, кого сослали. Несколько человек в карельский городок, где работал Медведев. Жены и дети осужденных проклинали Бусыгина, били ему стекла в доме, кричали ему — убийца!

\*\*\*

Массовость смерти, блокадная обыденность её, рождали чувство ничтожества жизни, разрушали смысл любого желания. Человек открывался в своём несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим — бредущий труп. Сколько людей не выдерживали испытаний, зверели.

Блокада открывала человеку, каков он, что он способен выдержать и не расчеловечиться.

Блокада отделяла Ленинград от страны и от власти. Там, если были карточки, то по ним можно было жить, там не летали снаряды, был свет, было тепло, если были трамваи, то они ходили. Здесь жили по другим неписанным законам. Вода не шла, не поднималась ни на какой этаж; деревянные дома разбирали на дрова; хлеб, крупу, в сущности, не покупали, не получали, их добывали; милиции не было видно. Пожарные что-то тушили, но не было смысла тушить разбомбленный дом. Снаружи города всюду были немцы.

\* \* \*

Меня собирались направить на совещание инженерных служб, три дня в городе, в БТУ — бронетанковом управлении, кажется, так, можно помыться, поспать раздетым, поманили и отменили, без всяких объяснений. Володя Лаврентьев сказал мне:

— Ты только не бери в голову, что кругом сексоты, испортишь себе жизнь. Это они нарочно делают, такой у них приемчик.

...И тут Баскаков стал выкладывать мне тревожные сигналы: солдаты собирают и хранят фашистские листовки, которые есть пропуска к немцам. Похоже, что готовят переход к противнику. Надо о таких сообщать, чтобы предотвратить, иначе мы пропадем, и без того народу мало. А кто будет сообщать, на кого надеяться? К моему изумлению, он стал мне читать Маяковского с чувством:

*Я ассенизатор и водовоз,  
Революцией мобилизованный и призванный...*

— Мы с тобой ассенизаторы.

Маяковский тогда был мой любимец, в ответ я продекламировал ему:

— Я лучше в баре блядам буду подавать ананасную воду.

— Лучше чего? — не понял Баскаков.

— Это тоже Маяковский. Такое у него было отношение к доносам.

Баскаков наморщил лоб, потом вздохнул:

— Высшее образование имеешь? Поэтому позволяешь себе?

На самом деле я боялся Баскакова, даже комбат побаивался его. У Баскакова была гнетущая манера, он приходил в землянку, садился и молчал. Смотрел на одного, на другого, ничего не спрашивал... десять минут, двадцать, потом встанет и уйдет так же молча, оставив и нам свое тяжелое молчание.

— Где оно, твое образование?

— Не скажу, — выпалил я.

— Чего не скажешь?

— Где оно.

— Образование не защищает. Оно — тьфу, — и тут он улыбнулся нормальной улыбкой. — Ты кончишь свою залепуху? Посмотри на себя, так ведь кирзой и останешься.

— Так точно, товарищ капитан.

— Ты чего добиваешься?

— Дайте мне увольнительную в город.

— Это зачем?

— Я пойду посоветуюсь с тетей насчет вашего предложения.

Баскаков уставился на меня. Не отводя глаз, я стоял навтытяжку. Иногда я чувствую свое лицо, особенно когда оно становится глупым. Мне нравится это выражение идиота на своем. Рот приоткрыт, глаза бессмысленны, олигофрен. Он защищает меня, от него не бывает неприятностей. Солдат должен уметь хорошо придуриться. Иосиф Швейк изобрел выход из любого затруднения солдатской жизни — становиться придурком, швейковаться. Понял Баскаков или не понял, это уже роли не играло. Он заверил, что мне мало не будет, если я где-нибудь проговорюсь, обещал глаз с меня не спускать, он ко мне приставит сексотов, он меня достанет, но все это без злости. Глупость чем хороша — ее не стыдишься, не жалеешь, — ах, мог бы ответить лучше, посильнее, поумнее. Стоит достигнуть глупости, и не нужно тянуться, живи себе припеваючи. Среди глупых куда больше счастливых, чем среди умников. Но глупость на меня снисходит нечасто, как вдохновение. Пользоваться глупостью надо с умом, для этого надо иметь много ума.

### *На нарах*

У начальства выигрывал тот, кто атаковал, кладя людей без счета, кидая в бой всё, что мог, кто требовал еще и еще, кто брал числом, мясом. Сколько было таких мясников среди прославленных наших генералов! Когда-нибудь найдется историк, который перепишет историю Великой Отечественной, прославив тех, кто берег солдатские жизни, продумывая операции, чтобы не подставлять солдата, смекалил, выжидал как ловчее обставить, обойти противника.

Гитарный перебор бился о бревенчатые накаты землянки, разгоняя вонь сохнувших портянок и давно не мытых наших тел. Володя перешел с Вертинского на песни Петра Лещенко, потом на цыганщину. Пел с надрывом, тоской, отдельной от войны, принесенной сюда из той его мирной жизни. Совсем разладилось у него с женой, короткая его футбольная карьера закончилась. Певец? С таким репертуаром? Разве что на домашних вечеринках... А был он талантлив во все стороны. И в богатстве своем щедр, торопился раздать побольше, таскал на себе раненых, мастерил сани, ходил за снарядами, хоть не его это было дело. Военная карьера не занимала его. И сама война

тоже. Подобно большинству солдат, он не звался стрелять. Стреляли по приказу, а чтобы охотиться за противником по своей воле, мало кто старался. В обороне день больше, чем в наступлении. Сидя в окопе, можно бы пострелять, война ведь, ан нет, устали. Ссылались на такую причину — не вызывать ответный огонь на себя. На самом деле, чего ради стараться, оборона не есть наступление, азарт был у снайперов, эти немцу не давали расслабиться. Для нас же работы и без стрельбы хватало.

Первое из них — поспать... У Володи Лаврентьева работы не счесть. Он лучше коптилку будет мастерить и приспособливать к веретенному маслу, чем стрелять.

Окопная жизнь имеет распорядок. Завтраки, обеды, дежурства. Война в обороне даёт подобие дома. Свистят пули, осколки — неважно, есть свой уголок, где можно скинуть шинель, телогрейку, снять ремень, а то и сапоги... Д. никак не мог справиться со своей улыбкой от этой спокойной войны.

Служба в ОПАБ'е отличалась стабильностью. Был участок — от подбитого грузовика до железнодорожного переезда. Два с лишним километра. Окопы, землянки, ходы сообщения, пулемётные гнёзда, было своё батальонное кладбище, закопанные танки — живи не хочу. Получал письма — был адрес полевой почты. Приносили в термосах обед. Во втором эшелоне батальон имел трёх лошадей, две полуторки, склады БП (боевого питания). Д. получил своё место на нарах, в землянке, над головой три наката брёвен плюс шпалы. Уют, дымный, вонючий, но уют. Откуда-то появился топор, сучья рубить для буржуйки. Война войной, а надо устраиваться, заводить хозяйство — ведро, коптилки, раздобыли железный умывальник, бывший железный чайник. Всё прятали, чтобы соседи не спёрли. Или вот спичек не было, Д. нашел в развалинах обсерватории линзу, при солнышке она помогала.

В ту осень и зиму мы держали оборону у Шушар, через поле раскинулся перед нами Пушкин, его парки, был виден дворец. Всю блокадную зиму он маячил перед нами. Глядя на него, я вспоминал анфиладу дворцовых залов, великолепие покоев в розовых отблесках закатного солнца.

Случай со зрителем перестал казаться таким нелепым. Что-то в этом было достойное уважения, но лишь много позже я стал по-настоящему понимать этих людей.

В бинокль было видно, как дворец чернел. Разрушался. Мы знали, что он занят немцами, они укрывались во дворце от нашей артиллерии, в морозные дни оттуда из труб шел дым, видимо, топили печи. И наши пушки время от времени, не выдержав, лупили туда. Однажды во дворце случился пожар. Мы смотрели, как поднимался в морозном воздухе чёрный копотный столб дыма.

Не знаю, как было под Петергофом, Ораниенбаумом, я знаю лишь, что пушкинские дворцы мешали нам воевать. В том смысле, что не было сил палить по ним, несмотря на ожесточение ленинградской блокады, на ненависть, накопленную за эти страшные дни голода, смертей, бомбёжек. Приходилось стрелять в их сторону...

Дворцы служили и складами, и местом сбора немецких офицеров. Загорались огни, то-то там праздновали. В январе 1944 года я услышал по радио, что наши войска освободили Пушкин. Я был уже на другом фронте и в Пушкин попал лишь спустя полтора года после войны.

Парк был вырублен, изувечен воронками, где засыпанными, а где зараставшими травой. Дворец стоял выгорелый, разбитый, ничего не дымилось, но внутри руин неистребимо пахло гарью. Прогорклый запах разрухи был, как запах смерти. Торчали остовы павильонов, фундаменты, постаменты. Где-то на обломках стены, сверху вдруг среди обнаженного закоптелого кирпича глянет золотая головка или ветвь виноградной лозы, и это было самое печальное. Ленинградцы бродили меж развалин, вспоминая былую прелесть этих мест. Ехали в Петродворец к фонтанам, там находили то же самое — руины, останки щебня, мертвые фонтаны, мертвые, неузнаваемые скелеты дворцов. И в Гатчине, и в Павловске от бывшего великолепия не осталось ничего. Все было разрушено, разграблено, вывезено, сожжено, все выглядело непоправимо.

Ленинград тоже был тяжко изувечен непрерывными бомбежками, пожарами, обстрелами. Великий город, хотя и не допустил врага, отстоял себя, но блокада нанесла урон буквально во всех районах. И однако же, для всех горожан, и для тех, кто выжил, и для тех, кто возвращался из эвакуации, ужасные виды Пушкина, Петродворца

причиняли боль особо глубокую. Город можно восстановить, это все понимали, чудо же дворцовых пригородов было утрачено навсегда, это тоже все понимали, и чувство этой непоправимости было, может быть, наигоршим из всех послевоенных потерь.

Но уже тогда, в тот первый, а потом и в следующие наезды в Пушкин я заметил, что развалины Большого дворца огорожены, и там кто-то хозяйничает — люди бродили среди руин, ползали, рылись, копали, подбирали обломки, осколки, крылышки, руки, головы, куски багета, мрамора, стекла... Уцелевшие атланты безнадежно взирали на них с простенков дворца. Никто не верил, что можно что-либо восстановить. Да и в какие сроки. Пока что на ближайшие десять-двадцать лет предстояло отстраивать Ленинград. Люди теснились в переполненных коммунальных квартирах. Почти все деревянные дома пожгли в блокаду на дрова, другие сгорели от зажигалок. Люди возвращались из эвакуации, им негде было жить... Надо было налаживать разрушенные предприятия. Я работал в те года в кабельной сети города. Подземное хозяйство города было разрушено. Подстанции разбиты. Мы не могли обеспечить мощностями школы, больницы, институты. Нет, и думать нельзя было, и мечтать о восстановлении дворцовых ансамблей, петергофских фонтанов...

Вышло еще в конце войны постановление Совнаркома СССР о восстановлении Петродворца, Пушкина и Павловска. Оно было встречено с радостью и недоумением. Откровенно говоря, мы считали это скорее политическим актом, чем реальным делом. Не до того ведь было. Но люди в ватниках, синих халатах продолжали рыться, работать среди развалин. Потом начались субботники, куда выезжали ленинградцы, помогая расчищать парки. Из укрытий, из ям извлекались припрятанные статуи, памятники. Заделывали пробоины дворцовых стен, возводили кровлю. Так исподволь, без лишнего шума начиналась великая, воистину беспримерная эпопея Восстановления.

Если бы только Восстановления, но надо было воссоздавать, ибо что-то было истреблено, что-то утрачено. Следовало постигнуть секреты мастеров XVIII века, перенять их манеру, стиль, проникнуться их видением. От многих архитекторов, художников, реставраторов это требовало самоотречения, кропотливой работы перевоплощения, надо было стать вровень с лучшими искусниками керамики, резьбы, лепки,

чеканки, живописи России, Италии, Франции прошлых веков, вплоть до китайских мастеров ткани.

Были неверующие, были и те, кто считал эту работу расточительством, ведь в том же послевоенном Пушкине люди жили не то чтобы бедно, жили в землянках, бараках, земляных подвалах, не имели элементарных удобств. Как же можно было столько сил и средств тратить на эту роскошь?

Восстановление пригородов было подвигом не только реставраторов, но и всех ленинградцев. После мучений блокады, войны, они шли на то, чтобы в ущерб стройке жилых домов возрождать эти дворцовые сооружения, вместо насущного возвращать Красоту. С великим трудом страна выкраивала материалы для этих накладистых строек. Восстановление дворцов, пригородов, этого драгоценного ожерелья Ленинграда нельзя было откладывать. Любая отсрочка увеличивала потери, делала их невозполнимыми. История оправдала нелегкое решение, принятое в те дни.

История восстановительных работ сама по себе драматична. С первых дней освобождения Пушкина, Павловска, Петергофа в январе 1944 года она длилась до восьмидесятых годов. Она продолжается и ныне. Но то, что сделано, это, конечно, чудо возрождения. Так же, как невозможно было представить среди развалин Пушкина, что когда-либо удастся вернуть людям то, что здесь было, точно так же сегодня уже немыслимо представить, что все это великолепие возродилось из обломков, черепков, собранных стараниями музейщиков из обгорелых остовов, из сохраненного, упрятого, закопанного, увезенного.

Закатное солнце слепит окна Екатерининского дворца. На Камероновой галерее не найти уже следов пуль. Парк, пруд, Чесменская колонна... Что случилось с ним, с тем трогательным чудачком-смотрителем? Уцелел ли он? И разве он был чудачком?

### ***Снайпер***

В каждой части был свой снайпер. Не обязательно, но так получалось. В батальоне снайпером был Ломоносов, он с детства занимался охотой. Комбат раздобыл ему винтовку с оптическим прицелом, и Ломоносов время от времени отправлялся, «залегал».

После разгрома немцев под Москвой моему лейтенанту захотелось тоже побыть снайпером. Витя Ломоносов отговаривал его, снайперское дело хитрое, требует обучения. Тут мало метко стрелять. Надо уметь маскироваться, уметь найти цель, выждать, требуется чутье древнего воина. В зверя можно промахнуться, снайпер, выстрелив, обнаруживает себя, и тогда на него самого начинается охота.

Мой лейтенант настаивал. Ныне не поймешь, чего ему тогда приспичило. Не разыскать тех мотивов. Домыслить, конечно, можно: по-видимому, молодечество, показать себя хотел, может, подозревал себя в трусости. А может, хотел сразиться, ведь рукопашного сражения не было. Были мины, снаряды, пули, а вот так, чтобы лицом к лицу, не было. Когда Ломоносов описывал свои поединки с немецкими снайперами, получались форменные схватки. У кого больше выдержки, психология тоже требовалась.

Он дал Д. свою каску, выкрашенную белым, свой белый халат, замаскировал винтовку. Позицию они выбирали в бинокль вместе, наметили ее метрах в ста впереди нашего боевого охранения. Впереди и вбок, у разбитого деревца, оно ничем не отличалось от соседних, такое же простреленное, с изломанными ветками. Неподалеку темнела воронка от большого снаряда.

Уходил Д. в предрассветных сумерках. Расчистил себе лежбище. В мелкой воронке, каких кругом было много, воткнул два прутика — ориентир для Ломоносова, и залег. Утеплён он был валенками, внутри газеты, солома, полушубок, ватные штаны.

Поначалу было жарко, солнце медленно всходило, краски восхода менялись быстро. Бледно-розовый, сиреневый, оранжевый в этой части неба кто-то расписывал, и так красиво, так быстро, никак не мог ни на чём остановиться. А слева небо оставалось тёмным, долго не отзываясь на эти художества. Когда стоишь на посту, почему-то ничего этого не замечаешь. Ходишь взад-вперёд, сосёшь сигарку, прислушиваешься, просматриваешь нейтралку, и никаких тебе ни восходов, ни закатов. Небо устраивает человеку роскошное зрелище, а он и не смотрит. Чем он занят?

*И с грустью тайной и сердечно  
Я думал: жалкий человек,  
Чего он хочет? Небо ясно  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно один враждует он.  
Зачем?*

Безответный вопрос, памятный со школьных лет, вернулся к нему совсем иным, чем прежде. Зачем он сам под ясным небом залёг здесь, чего он хочет? «Жалкий человек» — это о нём, бравом лейтенанте, смельчаке, пламенном мстителе.

Наверное, и комбат, и Медведев, и Ломоносов решили, что ему не терпится отличиться, что тщеславие гонит его. Мысли эти обижали, но он знал, что всё равно будет дожидаться, пока появится неосторожная цель, что никуда он не двинется, пока не выстрелит, и ничего Лермонтов не сможет изменить. Да и сам Лермонтов тоже стрелял и стрелял в той бессмысленной кавказской войне, которую вела Россия.

Что-то появилось в прицеле. «Жди», — вспомнил он наказ Виктора. «Не спеши». Он ждал. В окопе у немцев вылезла каска. Покачалась. Снова вылезла, уже правее. Эту их уловку он давно усвоил. Проверяли, где-то сидел наблюдатель. Вот справа он блеснул биноклем. Ноги стали мерзнуть. Мелькнула голова в вязаной шапке. Вошла и вышла из перекрестья. Вернулась. Что-то там делала. Немец нагибался, исчезал, снова показывался. Может, орудовал лопатой. Сейчас... выстрел. Дернулся. Кажется, попал. Убил... Убил... Или ранил... Или промах. Теперь не двигаться. Завыла мина. Другая. Третья близко. Отпрянул — и засвистело, рядом, совсем рядом, это уже пули. Может, засекли. Он подумал, что там тоже залег снайпер, и теперь придется продержаться до сумерек. Чем-то бы заняться, а чем? Ни поразмяться, ни вздремнуть. Хорошо бы перекатиться в большую воронку у дерева. Попробовал ползти, полз медленно, набирая снега за воротник. Наконец, рухнул в воронку. Здесь, по крайней мере, можно было сесть. Стал растирать ноги. Несмотря на валенки, плохо их чувствовал. Вспомнилось, как в госпитале у Меерзона видел помороженных ребят с отрезанными руками, ногами и тех, кого вовсе превратили в «самовары». Он стал растирать себе лицо. Пошел снег. Сперва снежок, потом повалил гуще. Вроде как потеплело. Двигаться не хотелось. Вдруг он вздрогнул. Что-то там внутри сработало. Страх.

Понял, что замерзает. Понял, а все равно двигаться не стал. Странные были эти минуты, страх нарастал, но медленно, и внутри него кто-то следил, как он замерзает и погружается в блаженную дрему. Наконец что-то произошло, он вскочил и тут же упал, ноги не держали. Снова вскочил, опираясь на винтовку, выбрался и пошел. Была не была, может снегопад заслонит. Шел, увертываясь от невидимого снайпера, вправо, влево. Угодил в расположение второй роты. Упал, ноги больше не держали. Ему помогли добраться к своим. И вот он в своей землянке, Медведев уложил его на нары, стащил валенки.

Замерз так, что язык не ворочался. Принял водки, отогрелся. Ничего уютнее этой пропахшей дымом, вонючей, вшивой землянки с ее соломой, печкой из-под бензиновой бочки, ничего восхитительней мой лейтенант не знал.

Стал рассказывать Медведеву, как был снайпером. Он молча слушал, потом сказал:

— Убил, значит?.. Доволен?

— Еще бы, — сказал он.

Но что-то в его тоне лейтенанта задело.

Пришел Ломоносов, расспросил, как было. Лейтенант ему тоже изложил со всеми пугающими подробностями. Так что получилось нечто драматичное. Витя слушал-слушал, потом показал им письмо от своих из Холмогор. Писала ему его молодая жена, как у них забрали в военкомат лошадь, а потом и у всех в деревне стали требовать деньги, пожертвование на танковую колонну. Сказал:

— Они там расправляются с моей семьей, оставили без лошади, а я тут должен защищать такую плохую власть.

Мог сказать и покрепче, но оттого, что сдержался, еще сильнее получилось.

Вечером, когда мы пили чай с заваркой из наших трав, засушенных Медведевым, я вдруг рассказал ему про первое свое убийство. Трудно понять, с чего это меня понесло. Я старался никогда не вспоминать о нем, за прошедший месяц никому словом не обмолвился. Со временем к этому случаю стали возвращаться подробности.

Я грузил на телегу ящики с патронами, когда наш лейтенант приказал сбегать на КП нашей роты, что-то их не видно, пусть не

задерживаются со своим барахлом. Я схватил, помчался. Еще издали увидел у землянки два зада, у входа в нее, за эти месяцы они выросли в памяти в две огромные задницы. Я было окликнул, но звук застрял у меня в горле — сизый цвет, немецкий цвет, как вспышка блеснуло в мозгу, и в тот же миг рука кляцнула затвором, палец нажал крючок, автомат дернулся, затрясся, это он сам уже, не я, веером в обоих, не мог остановиться. Всплеск крови, вскрик, но это уже вдогонку, снаряд бьет в колокольню белой церкви и она окутывается кирпичной пылью, медленно надламывается, я мчался и мчался, гонимый ужасом.

Медведев не отвечал.

— Хорошо бы забыть начисто, — сказал я.

— А может, и не надо, — сказал он.

— Нет уж, — добавил он, — раз пошел воевать, надо убивать. Я тоже убил несколько. Из «Дегтярева». Не знаю, какие они были. Не стал смотреть. Они к пасеке пришли. Мы знали, что придут. Хорошо, что забыть не можешь. Я вот не знаю, надо ли молиться за них? Не кощунство ли?

— Вы в Бога верите?

— Что-то вроде того.

Подумав, я спросил, помогает ли вера.

— Так я помощи не прошу. Из праха мы вышли и в прах вернемся. То ли с пулей в груди, то ли с бякой какой.

— О чем же вы молитесь?

Медведев поскреб затылок.

— Я не прошу, я благодарю Господа, — он чуть улыбнулся, — за то, что он вдохнул жизнь в меня, дал полюбоваться на свое творение. Конечно, за любовь. Я не выпрашиваю «Дай еще побыть здесь», а «Спасибо тебе за то, что ты соблаговолил пригласить меня на этот праздник».

— Неужели вы думаете, он есть?

— Для меня — да.

— Он для всех или только для вас ?

— Не знаю.

— Разве наша жизнь праздник?

— Конечно. Жаль, что ты этого не чувствуешь. Что-то Медведев не договаривал. Что именно, я не понимал. Но вряд ли это могло быть серьезно, смешно было думать, чтобы образованный человек, не такой

старый, мог молиться, верить в Бога. Пришлось отнести слова Медведева к чудачеству.

Подобные странности иногда западали в душу, запоминались и начинали прорастать.

Больше мы к этому не возвращались.

После войны мне снилась теснота танков, их слепота, снился ужас, двое задами ко мне и очередь в них из автомата, бесконечная, шлепок за шлепком, это пули входят в тело.

Медведева убило миной, когда он возился с антенной. Убило наповал. Это считалось удачей. А на следующий день убило Витю Ломоносова, моего приятеля. Он был из Холмогор. Убил его снайпер. Связисты мне позвонили. Утром я добрался до окопов второй роты. Витя лежал скрючась у пулеметного гнезда, без ватника, босой. Старшина сказал мне виновато: «Ребята взяли, у него валенки были хорошие. Если надо, вернем. Но хоронить в них тоже без толку». Я согласно кивнул. Наше батальонное кладбище было за насыпью. Поставили мы гильзу снарядную, одну на двоих, с именами. Я вернулся в землянку к Володе Лаврентьеву.

### *Попытки размышлять*

«Внезапное вероломное нападение Гитлера на Советский Союз» было постоянным оправданием политиков. Как будто войну положено объявлять заранее, за два-три месяца минимум. Для того и существует армия, чтобы быть готовой отразить нападение. В любой момент. А еще есть разведуправление, военное и невоенное. Внезапности не могло быть, Сталину, начиная с лета 1940 года, а потом и в конце 1940-го поступали донесения о подготовке атаки на СССР. Сообщали число дивизий на советской границе — 80 дивизий вермахта, затем еще 40. Десятки разных сообщений поступали отовсюду. Указывали точный срок наступления: 20 — 22 июня 1941 года. Все это известно. Но интересно и другое. Спустя полвека историки решились — опубликованы данные о том, что Красная Армия к началу войны имела превосходство над немцами по танкам — в три раза, по самолетам — в два с половиной. Армия имела 180 дивизий. С такими силами можно было дать немцам по зубам и погнать их вплоть до Берлина, не дожидаясь второго фронта.

Гитлер считал, что такие силы не для обороны, а для нападения. Получалось, что его провоцировали на упреждающий удар.

За первые три недели Красная Армия потеряла 28 дивизий и половину состава 70 дивизий. Фактически Красной Армии не стало. Легенда о внезапности — чистая демагогия, запущенная Кремлем. Как-то пытались оправдать самонадеянность великого корифея. Он, Сталин, не представлял себе, что Гитлер мог перехитрить его,

переиграть, оказаться умнее его, гениального провидца — это немыслимо. Можно считать, что Сталин был жертвой своего культа.

В начале июля мы, ополченцы, занимали укрепления под Лугой. Уцепились за них, недостроенные, но все же были укрытия, существовала какая-то линия защиты, нечто такое, с чего можно было продолжать рыть окопы, даже в полный профиль. Много позднее я узнал, что в эти самые июльские дни был осужден и вскоре погиб в лагере генерал Пядышев, командующий группой армий, за то, что начал он самовольно (!) возводить эти самые Лужские укрепления. Ему, оказывается, приказывали контратаковать наступающих немцев. До чего же надо было не знать, не понимать, что творится на фронте! За ним один за другим последовали расстрелы генералов, которых казнили за ошибки главнокомандующего.

Немецкая агрессия была неожиданной прежде всего для Сталина. И Генштаб, и командующие округами, они-то ждали войны со дня на день и не смели ничего предпринимать. Только нарком флота адмирал Кузнецов, рискуя жизнью, ибо действовал вопреки приказу, объявил боевую готовность.

### ***Большие мелочи***

Надо было где-то постоянно добывать воду. Зимой можно было растопить лед, а вот весной вода, что затопляла окопы, становилась грязно-желтой, потом вонючей от нужников, от трупов, от ротных помоек. Как ее чистить, противогазы мы давно выбросили, можно было бы фильтровать через них. Пробовали делать фильтры из угля, портянок. Кипятить? Кипятили. Плохо помогало. Да и дров было жаль. Дрова тоже надо было постоянно добывать. На Пулкове, среди обсерваторских строений, еще кое-где сохранились оконные рамы, двери. Там хозяйничали артдивизион, морская бригада, они нас гоняли, требовали взамен курева водку. Мне разрешали только рыться в подвалах, где свалены были какие-то бумаги, атласы, старые журналы.

Пилить деревья, колоть на дрова, на это силы не хватало. Да и эта древесина не горит без керосина. То ли дело дверь или половица. Лучше всего паркет. Его быстро истребили.

Из железнодорожных путей пытались извлекать шпалы. Тяжелая это была работа. Зимой на нее сил не хватало. Ближние деревянные дома у Пулкова вскоре все пожгли. Уходили за дровами все дальше к городу, оттуда везли на санках. Раздобыли немного угля, но разжигать его тоже надо было дровами. А кипяток, если с заваркой, заменял нам хлебную пайку. Суп, кашу привозили холодные. Без согрева даже летом не обойтись. Бритва тоже требовала хотя бы теплой водицы, померзлые щеки скрести не под силу.

Где, чего, как добывали, уж не вспомнить. А ведь исхитрялись. Каким-то образом вода кипела в наших закоптелых котелках, пар шел от супа, жарился подстреленный голубь, сойка. Вспоминается одна забавная невзгода. Это уже было второе лето войны. Доставили нам офицерский паек — сгущенку. То ли нашу, то ли по ленд-лизу. Да только в банке два с половиной литра. Вопрос сразу возник — как ее разлить. Посуды-то ни у кого лишней нет. А сгущенку-то зараз съесть свою долю в двести грамм кто ж себе позволит? Ее, красавицу, тянуть по ложечке в день. Она и сахар, и молоко, и отрада среди нашей голодухи. Комиссар приказал не трогать банку, пока у всех не будет емкости. Поставил ее у себя. Старшина молодец, где-то он раздобыл мыльницы. Всем офицерам раздал, и все получили свои порции. Мыльницы держали в карманах. Плотная крышка, никаких потерь. Позже там держали сахарный песок. А когда вошли в Пруссию — туалетное мыло. То и дело приходилось решать самые простые нужды. Ваксы не было, я смазывал сапоги, ботинки оружейной смазкой. Головы ножницами стригли друг другу. Одни ножницы были на роту. Ни спичек, ни зажигалок, огонь для курева добывали кремневыми камешками плюс фитиль. Первобытно, зато надежно.

«Окопный быт, он хитрый самый, солдату, чтобы воевать, приходится существовать — не только родину спасать, стрелять и драться, но чем-то надо подтираться...»

Подобными стихами Женя Левашов мог шпарить подряд, не закрывая рта. Придумали печки делать из железных бочек. Железные бочки были из-под горючки. Горючку воровали в автобatalьоне, те ругались на нас, потому что бочки должны были сдавать службе ГСМ (горюче-смазочные материалы) .

В феврале что ни день задувала метель, наваливала снега до краев, из землянки не выбраться. Всю эту снежную прорву надо было

перекидать, да так, чтобы обзор сохранить, и вперед, и назад. Рыхлый снег бруствера не заменяет, оказывается, существовали нормы для этих сволочных брустверов. Сдохнуть запросто от такой работы. Комбат ни метра не уступал. Посылали матюги бронебойной силы. Кидать не перекидать при этой гороховой баланде, да еще нашими саперными лопатами, годными лишь на то, чтобы подбирать генеральское говно.

О чем они думали, все военные академии, штабы, может, они не знали, что зимой выпадает снег? Что шинель — это не шуба, в мороз солдату нужна телогрейка. Что солдату на морозе надо быть дольше, чем офицеру.

Почти все в батальоне поморозили и ноги, и руки. Медведев рассказывал, что финские солдаты носят теплое белье. На это ему комиссар Елизаров заметил — русский солдат в одних трусах им всем кузькину мать покажет.

— Вот так и воюем, — сказал Медведев.

### *Шальная пуля*

Меня позвали к связистам. Из штаба звонил Левашов. Счастливым голосом он сказал мне, что должен придти сказать мне что-то такое... что и меня касается. Чтобы я никуда не уходил, ждал его.

Было майское утро. Тепло, солнечно. Солнце уже теплое. Земля оттаяла. Кончилась эта проклятая зима. Снежные завалы, обморожения, и все время — дрова, дрова...

Я стоял на солнышке, жмурясь от удовольствия. Это местечко было у железнодорожной насыпи, на ней уже пробивалась новенькая травка, нежно-зеленая, если потереть ее пальцами, слабенькая, но пахучая. Я расстегнул ворот гимнастерки. Впору было раздеться, загорать. Весна на фронте появляется в промежутке между обстрелами, со всех сторон возвращаются запахи, пение птиц, солнечные тени. Нижняя природа, всякие муравьи, жуки, наверное, не пугаются, вообще не замечают ни взрывов, ни грохота. От войны больше всего достается лесу. Деревья стоят голые, ободранные, сломанные.

Все завалено ветками, сучьями. Это побоище еще долго будет страшить своим видом.

В траншее показался Левашов. Он издали помахал мне. Он не шел, а парил. Густая его шевелюра всегда стояла дыбом, а ныне, или мне показалось, он весь вздыбился. Он возник передо мной необычно рослым — плечистый гвардеец, любимец Фортуны. Изображал радостный сюрприз. Несколько секунд он позировал: томил меня.

— Старик, слушай сюда... — и вдруг глаза его удивленно расширились, из открытого рта стал расти кровавый пузырь. Ни он, ни я не понимали, что происходит. Он схватился за меня, пытаясь удержаться. Стал медленно оседать. Глаза удивленно смотрели на меня. Пузырь лопнул, вздулся новый, другой, такой же кровавый.

В последний момент я подхватил его тело, в горле у него забулькало. Я уже начинал понимать. И он тоже. Это была одна огромная секунда. Она все тянулась, растягивалась. Он лежал у меня на руках, становился все легче. Потому что уходил. Наверно, я закричал: — «Женя, Женя!». Как-то надо было остановить его. Я знал этот переход, навидался, последний шаг, когда человек переступает порог. Небытие ли открывается ему, тьма? Или свет?

Тело его чуть вздрогнуло, вытянулось, взгляд застыл на мне.

Не смерть пришла, а удалилась жизнь, унесла Женю Левашова, весь его мир, единственный, небывалый, все его рассказы-небывалки. Остался этот предмет, что остывал у меня на руках.

Мы стояли с ним под защитой насыпи, в совершенно, казалось бы, безопасном месте. Пуля на излете шальная, бесприцельная, с чего вдруг кто-то поутру выстрелил...

Как стемнело, мы отнесли его на наше кладбище. Пришло несколько человек проводить. Церемоний, похорон у нас не бывало, но эта смерть была такой страшной, да и любили его.

Вернулись, пропустили по рюмке в память о нем, и тут я вспомнил, что так он и не успел рассказать мне что-то такое, из-за чего примчался, а что — я теперь уже не узнаю. Никогда. Вот что такое смерть.

### *Солдат на КП*

Андрей Корсаков, капитан из нашего полка, сочинял истории о прошлом танкового полка. Они были короткими. Так же, как коротка

была история полка. И он ее сочинял, дополнял, получалось интересней. Одну историю он мне подарил.

Согласно приказу армии танковая дивизия должна была обеспечить выход к переправе.

Артподготовка не удалась. Не хватило снарядов. Колонна со снарядами застряла под Руссой, где разбомбили мост. Согласно приказу дивизии полк Голубцова должен был овладеть предместными укреплениями.

После первых же попыток выйти из рощи, что тянулась низиной до самого берега, были подбиты две машины, одна сгорела, еще одна застряла, и Голубцов понял, что вся затея безнадежна.

Он сидел на КП у радики и пытался связаться с командиром дивизии. КП помещался в бывшей немецкой землянке, единственной на этом болоте. Но еще раньше в этой землянке стояли наши минометчики. От наших на стойках остались росписи химическим карандашом, от немцев остались гранаты на длинных деревянных ручках и открытка с голой девкой, припиленная к доскам нар.

Голубцов занимал глухую половину землянки, отделенную плащ-палаткой. Над столом Голубцова горела фара, подключенная к аккумуляторам. От близких разрывов болотная земля вяло вздрагивала, песок толчками сыпался из щелей наката. Он сыпался на фуражку Голубцова, на карту, в тарелку со шпротами.

Молоденький радист сидел на ящике и смазывал умформер, не переставая твердить в микрофон: «Василек, Василек, я Сирень, я Сирень». Масленка в его руках звонко щелкала, и это раздражало Голубцова так же, как его беспечный голос.

— Долго ты будешь тыркаться? — сказал Голубцов.

Радист посмотрел на него, сдвинул наушники.

— Слушаю, товарищ майор.

— Связь давай, связь! — закричал Голубцов и выругался.

Радист сморщился, прижал наушники и вскочил.

— Второй слушает.

Лампочка мигала в такт словам Голубцова.

— Кончай, — сказал ему командир дивизии. Они воевали вместе уже год, и Голубцову стало ясно, что командир дивизии больше ничего сделать не может.

— С ходу, с ходу прорывайся. Ну огонь, ну огонь, а ты как думал?  
— И оттого, что он ничем не мог помочь Голубцову, голос его накалялся. — Ты как думал, бубликами тебя встретят? Какого черта застряли? В штрафную захотел?

Голубцов тоскливо смотрел на мигающую лампочку. Комдив говорил ему все то же самое, что сам Голубцов только что говорил командиру первой роты. Немцы остановили полк справа, и теперь вся надежда была на полк Голубцова.

Теперь он вызвал напрямую командиров рот. Командир первой сообщил, что загорелась соседняя машина.

— Где артиллерия? — спросил он. — Товарищ майор, где артиллерия?

— Ты сам артиллерия, нет артиллерии, — сказал Голубцов. — Догадываешься? Правее забирай и вперед с ходу.

— Некуда вправо. Болото, — доложил командир роты. — Там совсем... — Он выругался и самовольно отключил связь.

И хотя он вроде бы руганул болото и артиллерию, но Голубцову ясно было, что все это относится к нему, командиру полка, который ничем не может помочь и талдычит все то, что сам комроты видит и знает лучше его.

Единственное, чего комроты не знал, так это про полк справа, но и это знание не могло бы ему помочь.

Радист спросил:

— Вызвать ли снова первую роту?

В глазах его была усмешка.

— Помолчи! Ты мне еще тут... — гаркнул Голубцов. Он закурил и стал тянуть жадно, глубоко, так что голова закружилась.

Откинув плащ-палатку, он вышел к связистам. Там пищали зуммеры телефонов, кого-то распекал помтех. Очки прыгали на его носу, одно стекло было разбито, и глаз в пустой роговой оправе прицелился на Голубцова черным зрачком. Голубцов тяжело задышал, его качнуло, он схватился за стойку и увидел на нарах солдата. Солдат сидел, сняв сапог, и перематывал портянку. При свете коптилки была видна белая ступня с желтоватой пяткой. Солдат громко жевал и смеялся.

— Ты чего? — Голубцов выплюнул папиросу. — Ты чего?

— Да вот, — солдат показал на картинку с голой девкой, подмигнул и снова хохотнул.

Голубцов задыхался:

— Ты... ты...

Солдат всмотрелся, вскочил, сдвинул ноги — босую и в сапоге.

— Товарищ начальник...

— Прячешься? Портянку мотаешь, придурок, — кричал Голубцов.

— Молчать! Откуда? Чтоб духу твоего... К автоматчикам! Стрелять! Марш! Бегом!

Он кричал и кричал, уже не слыша своих слов, чувствуя только блаженное забытие.

Из-за плащ-палатки выглянул радист:

— Товарищ майор, вас двадцать третий.

Голубцов круто повернулся, радист попятился.

Взяв наушники, Голубцов стоя слушал начальника штаба армии.

— Па-а-чему не двигаешься? Ты что, операцию хочешь сорвать? Думаешь, я тебя не раскусил? Где машины? — Голубцов придвинул карту, наугад ткнул в бледно-зеленый квадрат. — Правее заходи, правее! — закричал начальник штаба.

Какую-то секунду Голубцов медлил. Так просто было сказать «слушаюсь» и податься вправо, и залезть в болото, откуда не выбраться, и сохранить машины и людей. Но он вспомнил командира первой роты.

— Нет, — сказал он и стал объяснять.

— Я тебе застряну! Имей в виду, милый мой, — ласково сказал начальник штаба, — не обеспечишь — разжалуем, ванькой взводным пойдешь. Гвардейцы, так вас... Я тебе приказываю с ходу прорываться. Понятно? На полном ходу.

Голубцов представил, как по белой шее начальника штаба ходит острый кадык. Представил его пахучую трубку, и желтый прокуренный палец над этой трубкой, и веселые острые усики. Больше всего на свете Голубцову хотелось сказать сейчас все, что он думает про этот бой и про начальника штаба. Но он ничего не сказал и не понимал, почему он не может сказать, и от этого ему стало еще тяжелее.

Он положил наушники и зачесался. Тело его зудело. Он чесался, раздирая кожу.

Вбежал старший адъютант. Сообщил, что подбиты еще две машины.

— Ну и что? — сорвался Голубцов. — Ну и что? В штаны наложил? Мне переправа нужна. Переправа! Машины подбитые потом сосчитаем. Сам сосчитаю. Слыхал? Отправляйся.

— Товарищ майор, нужно хотя бы...

— Молчать! — оборвал Голубцов. — Отправляйся.

Старший адъютант посмотрел на него грустно и сочувственно. Он повернулся, щелкнул каблуками. Послышалось, как хлопнула дверь землянки. Голубцов перечеркнул на карте еще два ромбика. Надо было связаться с командирами рот, он не знал, что им сказать. Наступил тот предел боя, когда слова стали бесполезны, и нечем было ободрить, и нечем было угрожать. Начальство дивизии и армии могло кричать на него, ему кричать было уже не на кого.

Внезапно наступила тишина, короткая пауза, какой-то обрыв, и Голубцов услышал, как кто-то за плащ-палаткой говорил:

— Дымится наш-то, голубчик, погорит...

Когда его позвали к телефонистам, он увидел, что все в землянке изменилось. На нарах лежал старший адъютант и хрипел. Гимнастерка его была задрана, рубаха залита кровью, санитар прикладывал тампон к животу. Вместо четырех телефонистов остался один, он быстро и уныло повторял: «Резеда, Резеда». На полу валялись катушки с проводами, чьи-то вещевые мешки. Из полураскрытых дверей вползал дым. Голубцов наклонился к старшему адъютанту.

— Молодец, — сказал он. — Ты молодец. А наши-то все-таки вышли к переправе.

Адъютант открыл глаза и посмотрел куда-то далеко-далеко.

Голубцов выпрямился, огляделся. В темном углу он увидел солдата. Солдат сидел на нарах и аккуратно наматывал портянку. Рядом стоял котелок. Зеленая краска облупилась, пятнами светился алюминий.

Голубцов глубоко вздохнул и улыбнулся. Не переставая улыбаться, он подошел к солдату, схватил его за борт шинели. Солдат поднялся.

— Ты что же это не выполняешь? — поинтересовался Голубцов.

Почему-то солдат оказался высоким и сутулым. Голубцов все силился рассмотреть его лицо, оно расплылось среди желтого

полумрака, и он видел лишь черную дыру рта, она то исчезала, то появлялась, обдавая его спокойным, махорочным запахом.

— Я тебе покажу, сучий сын, как укрываться, — пригрозил Голубцов и вытащил пистолет. — Я тебе покажу, как портянки мотать.

Он толкнул его вперед к выходу. Солдат подхватил одной рукой сапог, другой винтовку. Голубцов шел сзади, толкая его пистолетом в спину. На лестничке портянка у солдата размоталась, он нагнулся и подоткнул ее.

Только они вышли, выглянул радист.

— Товарищ майор! Где майор? В это время совсем рядом ухнул снаряд, все зашаталось. Снаружи что-то закричали, радист выбежал.

Вскоре он привел Голубцова, перепачканного землей. Несколько секунд Голубцов стоял, прислоняясь к косяку, закрыв глаза, и рука его с пистолетом крупно вздрагивала.

Наступление захлебнулось. Восемь машин, все, что осталось от полка, пятились в глубь рощи. Командир дивизии приказал Голубцову лично на командирской машине повести их к переправе с исходного рубежа второго полка.

— Чего молчишь? — спросил комдив. — Немец на исходе. Что я тебе могу... свою машину? Посылаю. Чего молчишь?

— Ладно, — сказал Голубцов.

Затем его вызвал начальник штаба армии.

— Все торчишь на КП? Приказ не выполнил! Все чухаешься? Рядовым пойдешь! Я тебе покажу...

Через полчаса Голубцова вытащили из разбитой машины и принесли в землянку. Ему раздавило грудь. Его положили на нары рядом с мертвым старшим адъютантом. В землянке стонали обгорелые, раненые танкисты. На полу полулежал с разбитым бедром командир первой роты. В руке у него был оптический прицел, и он колотил им по доскам.

Голубцов открыл глаза. У своих ног он увидел солдата. Согнувшись, солдат что-то делал со своей ногой. Голубцов приподнялся на локтях. Солдат стянул сапог, содрал слипшуюся портянку, расправил ее и начал вытирать большую белую ступню.

Голубцов засмеялся, голова его упала. Серая суконная спина солдата быстро увеличивалась и закрывала все. Когда Голубцов очнулся, он увидел над собой открытку с голой девкой, длинные ноги ее были

раздвинуты. Он не чувствовал боли. Внутри у него становилось пусто, как будто там уже ничего не было и нечему было болеть.

Он скосил глаза. Солдат аккуратно обертывал ногу портянкой, разглаживая каждую складку.

— Я ж тебя расстрелял, — сказал Голубцов. — Ты ж убит, убит.

Солдат повернулся к нему, прислушался.

— Эй, санитар! — крикнул он. — Начальник ваш пить просит.

Перешагивая через раненых, подошел санитар, посмотрел.

— Кончается, видно, — сказал он. — И эвакуировать нельзя.

Солдат натянул сапог, притопнул ногой, наклонился, поднял гранату.

— Немецкая, — сказал санитар. — Зачем тебе?

— Свои кончились.

Радист выскочил из-за плащ-палатки.

— Форсировали! Товарищ майор...

— Все, — сказал санитар. — Не слышит майор.

— Эх, черт... не успел, — с досадой сказал радист. — Наши-то все-таки форсировали, у Замошья. Выходит, теперь ему и не узнать? — Удивляясь и все еще недоумевая, он уставился на санитаря. Тот махнул рукой, отошел к раненым.

Радист, мрачняя, посмотрел на солдата.

— Пехота, — сказал он, — помоги-ка мне рацию погрузить.

Они потащили рацию наверх. Болотистая, с кривыми низкими сосенками роща дымилась.

— Молодой был? — спросил солдат.

— Не молодой, но отчаянный был. Жаль его, мы ведь с ним...

Солдат оступился и выругался.

— На кочках этих ногу сотрешь в момент, — сказал он. А у меня плоскостопие.

Они погрузили рацию на танк, радист вскочил на броню.

Танк двинулся, подминая сосняк, выплевывая мшистый торф из-под гусениц. Солдат посмотрел ему вслед, подоткнул полы опаленной, искровавленной шинели и захлюпал по тропке к сборному пункту.

Несмотря на строжайшие приказы, к весне 1942 года мы съели всех лошадей: сперва артиллерийских, затем хозвзвода или как он там назывался. Списывали их и как убитых при обстреле, и как павших от

истощения. Кониная даже маленькими кусочками делала нашу супокашу роскошным блюдом. Но заменить лошадей не могли, даже сорокопятки с трудом перемещали вручную на новые позиции.

Когда наконец получили из ленд-лиза два джипа, мы этих американцев перестали честить, а за шоколад вообще признали их союзниками.

Шоколад привезли в виде валуна. Этакая коричневатая глыба. Опять проблема: как его делить? Топором? Так разлетается крошками. Не сразу приноровились, расстилали плащ-палатку и аккуратненько отламывали, отщепляли кусками. Эти обломки раздавали повзводно. Продуктовая часть той жизни много значила. Не меньше боепитания, со всеми патронами, снарядами, ракетницами. Наш комиссар Елизаров и ротные политруки проводили беседы, мол, американцы, англичане хотят шоколадом, тушенкой откупиться от второго фронта, но шоколад был сильнее их слов.

Все они приписывали нам чужую войну с блистательными операциями, с воинами-смельчаками. А наша война была другой — корявой, бестолковой, где зря гребили людей, но это не показывали и об этом не писали. Мой лейтенант ненавидел немцев и терпеть не мог свою шушеру в штабах. В кино генералы были без хамства, не было пьяных, не было дураков. Он не понимал, как из всего варева ошибок, крови, из его трусости, невежества, фурункулеза, как, несмотря на все это, они вошли в Пруссию.

Появились вопросы, на которые не было ответа. Сами эти вопросы еще недавно были невозможны. Мы все больше страдали от того, что связь не работала, телефоны в ротах, в полках были допотопные, такие, как в Первую мировую войну. Не было радиосвязи. Это в стране, которая гордилась тем, что изобрела радио. Пока отступали, кое-как обходились связными.

Мы получили старенькие БТ, английские «Черчилли», «Матильды», «Валентины». Они горели, как бумажные. Не хватало снарядов. Не было мотоциклов. Не было оптических прицелов. Не хватало биноклей, перископов... Я могу судить лишь о том, что творилось на солдатском нашем уровне. За что ни возмись, мы оказывались неоснащенными. Говорить об этом не разрешали. Считалось, что это беды нашего батальона, нечего обобщать. «Окопная

правда» — за нее поносили военную литературу, повести и романы, написанные бывшими солдатами. Никак «окопная правда» не сходилась с правдой генеральских мемуаров, с правдой штабов, сводок Информбюро, газетных очерков. У солдат была своя горькая правда драпающих частей, потерявших управление, правда окруженных дивизий, армий, когда в плен попадали десятками тысяч, правда преступных приказов командующих, которые боялись своих начальников больше, чем противника.

Не знаю, кто придумал лозунг «Смерть немецким оккупантам!», но он стал нашим идейным знаменем. Не изгнать оккупантов, а убить. Когда гитлеровская программа уничтожения славян дошла до нас, война перешла на убиение. Мы тоже будем уничтожать. «Смерть немецким оккупантам!» Так что война к концу 1941 года повернулась на уничтожение.

Немецкие солдаты становились для меня лишь движущимися мишенями. Мы стреляли в них всю зиму 1941 — 1942 годов, не видя их лиц, они исчезали за бруствером, неизвестно, убитые или прячась от пули. Примерно как фигурки в ярмарочном тире. Зато наши убитые были люди.

Несмотря на все наши пессимизмы, цинизмы, ленинизмы, у человека все больше возможностей быть человеком. Немного, но больше, чем век назад, чем во времена Цезаря или Тимура.

### **Город**

Раз в два-три месяца меня посылали в город. Заряжать аккумуляторы для рации, за приборами, в штаб за какой-то инструкцией. Что-то я тогда записывал карандашом, наспех, свое удивление или на память...

*27 сентября 1941 года*

На Невском Малый зал Филармонии — все витрины защиты досками. То же в Доме книги и следующих домах. Прохожие с чемоданами, колясками — это те, кто ушел из Детского Села, из Александровки. Идут с окраин Кировского района. Мешки за плечами. Идут по всем улицам. По проспекту Стачек идут, по Средней Рогатке,

Московскому проспекту... Идут в Ленинград беженцы из пригородов. Куда идут, к кому идут — знать не знают, но бегут от немцев.

Трамвай едет переполненный.

Непрерывные воздушные тревоги, бомбежка, пожары. Разрушены канализация, водопровод, огромные лужи на мостовых.

Опубликованы фотографии, впервые я вижу их. Ополченцы, части Красной Армии. Я ищу на этих фотографиях знакомых... ищу себя... — нет.

Танк на Невском проспекте, тридцатьчетверка. Откуда?

На Литейном дом Шереметевский. Витрины доверху заложены аккуратно мешками с песком.

*10 октября 1941 года — первый мороз.*

Декабрь. Несмотря на мороз, на Невском всегда люди.

Малый зал Филармонии. Дом уже разбит, зияет на все 3 этажа брешь от бомбы. Дом рассечен как бы надвое, по левую и по правую стороны живут и продолжают работать.

*12 января 1942 года — минус 33 градуса.* На улицах людей много. Всюду идут с саночками, везут, кто-то везет швейную машинку, наверное, на черный рынок. Укутаны кто во что горазд. Толкучка у Кузнечного рынка. На хлеб меняют мыло, спички, свечи, дрова маленькими связками. Спички 10 рублей за коробку. Масла почти нет.

Трупы везут на санках. Санки по двое связаны так, чтобы труп лежал во весь рост.

На санях везут по несколько бидонов воды для столовой.

На Невском много людей, даже в морозы, даже утром, вечером. Тащат санки с дровами. Продают связки дров. Санки за плечами, как мешки.

Пришла машина за трупами. Выносят их из жилого дома, собирают по квартирам.

На Финляндском вокзале полно ожидающих эвакуации.

Пожар жилого дома. Успели вынести стулья, столы, картины.

Снимок. Общегородское собрание управхозов. Вот у них у всех физиономии круглые, что-то не видно дистрофиков.

*Апрель 1942 года*

Объявление — «Желающие эвакуироваться должны явиться по адресу такому-то. Последние эшелоны уходят 6, 7, 8 апреля». Эвакуация идет изо всех сил, потому что Дорога жизни тает.

Около Волкова кладбища весной сотни трупов, не довезенных, не похороненных.

Стирают белье на Фонтанке.

Вокруг Финляндского вокзала на своих узлах, с чайниками, кастрюлями сидят в ожидании эшелонов.

Трупы везут на листах фанеры. Трупы узенькие, сухонькие, как подростки.

Группа детей из детского сада на прогулке.

Все улицы в центре — это барахолка. Мебель, посуда, книги... — все, что можно держать на руках.

По Загородному идет трамвай, который тащит паровоз.

У Летнего сада на набережной стоят военные корабли.

Что за товары? Не поймешь... Коньки?.. Санки! Продают санки детские. Санки, конечно, всем нужны.

По некоторым лицам (вот в столовой) видно — кто жилец, кто не жилец.

Американское продовольствие на складе в р-не Осиновца. «ВАСОН». Огромные ящики, целые коридоры.

Забор перегораживает улицу: «ОПАСНО! Неразорвавшаяся бомба».

Несут раненую на носилках бойцы МПВО.

*1943 год, май*

Моряки-балтийцы разбирают разрушенное здание. Убирают трупы убитых возле Елисеевского магазина. Несла свеклу, редиску, убили, лежит, обхватив руками эту свеклу.

*8 августа 1943 года*

Сильный артобстрел. Всюду трупы. Пожарные смывают кровь с мостовой.

Снаряд попал в больницу — все перековеркал, всех, лежавших на койках.

Плакаты: «Уничтожить немецкое чудовище!», «Выше знамя Ленина — Сталина!»

Блокада — это Невский, залитый солнцем, и тишина. Полная. Стук метронома усиливает ее.

Были дни, когда я понимал людоедство. Оправдывал. Я весь превращался в пустой желудок, он корчился, вопил от безумного желания жевать что угодно. Мусор, просто грязь, горсть земли, опилки. Исчезла брезгливость. Я вдруг увидел прохожих, это было мясо, скелеты, на которых еще было мясо.

Людоедов ловили, забирали, вряд ли их судили, их, возможно, пристреливали. За что? Голод сметает все запреты. Преграды рушатся одна за другой. Ничего не остается.

Мужчина сидел на ступеньках подъезда, жевал перчатку. Кожаную. Мутные неподвижные глаза его ничего не видели. На самом деле он уже мертвец, но продолжает жевать. Кожанные пальцы, черные, торчали у него изо рта. Шевелились. Картина эта осталась в памяти навсегда.

### ***Редут Мерзона***

В конце апреля 1942 года я заболел цингой. Это было хуже, чем голод, зубы сперва зашатались, затем стали выпадать. Хлеб жевать невозможно, приходилось сушить, сухари сосать. Цингой болела большая часть батальона. Из полковой санчасти рекомендовали зубы, которые выпадали, обратно всовывать, они иногда приживались. Мы страдали не так от голода, как от цинги. Затем уже от чирьев, вшей и морозов.

Однажды меня со взводным, нет, не со взводным, а со старшиной послали в Ленинград, в госпиталь получать бисквиты. Такие от цинги делали прессованные зеленые кружки из хвои. Перемолотую хвою надо было растворять в кипятке и пить. В отваре было много витамина С. Они помогали, должны были помочь укреплять десны.

Госпиталь помещался на Суворовском проспекте. Добирались туда пешком. Полдня. Там я встретил Мерзона. Вид у него был еще хуже моего. В больничной пижаме, в халате, и поверх всего еще шинель, холодно было. Обнялись. Его лечили в госпитале от ранения плюс дистрофия.

Полное истощение. Скелетик. Я его угостил махоркой, мы сидели, курили, старшину я послал за этим витамином бисквитным.

Мерзон воевал в артиллерийской части семидесятишестимиллиметровых «прощай, Родина». Дымил он с наслаждением, потому что махорку нам давали какую-то особенную, старшина расстарался, то ли южная, то ли рязанская. Выберется ли Мерзон из госпиталя, врачи не знали. Сам Мерзон был в своей звезде уверен, хотя мерли здесь чаще, чем на фронте. Рассказывал он, как умер здесь наш друг Алимов. Между прочим, поразительная история с этим Алимовым открылась. Перед тем, как попасть в госпиталь, он, как признался Мерзону, хотел перейти к немцам. «А что, какой смысл подыхать от голода без всякого толка, сил нет терпеть голодуху». Немцы на их участке были совсем рядом, они каждый день кричали: «Рус, иди булку кушать, иди, кормить кашу будем!» — терпеть такое невозможно. Несколько его земляков ночью перешли к немцам, потом выступали по радио — кричали, как их накормили хорошо, от пуза. Алимов собирался-собирался перейти и не успел, ослабел так, что отвезли сюда, в госпиталь. Мерзон мне говорил: «Что-то его все-таки удерживало, какая-то последняя черта. У каждого из нас есть черта, которую перейти трудно. И у него была такая, это я чувствовал, но думаю, если бы поправился и вернулся на передок, может, и перешел бы, даже не перешел, а переступил, тут переступить надо. А что ты думаешь, — вдруг признался Мерзон, — если бы не мое еврейство, может, и я бы дрогнул..., чего мы тут сидим, не воюем — называется героические защитники, а войны-то нет. Подыхаем без толку».

Я слушал его и думал, похоже, ему из госпиталя виднее стала наша война.

— Нет, ты скажи мне, куда мы шли, куда мы так рвались? Ах, Ленинград, ох, Ленинград! И что? А если б мы с тобой тогда остались у танкистов, воевали бы по-настоящему, и если погибли бы, тоже за дело. А тут — подыхаю я, кому от этого толк? Алимов погиб — ведь зря. Нет, жаль, мы с тобой ушли, зря ты уговаривал вместе со своим Ермаковым. Такой вот нонсенс.

Я слушал его, не возражая, все было правильно. Может, мы действительно ошиблись. Куда надо было идти? Казалось бы, война все подсказывает, ан нет.

Ногу ему перебило. На Невском пятачке. При десанте. Ходили мрачные слухи. Расширить плацдарм на левом берегу Невы никак не удавалось. Командование упрямо переправляло туда часть за частью,

полк за полком. Немцы истребляли их подчистую. Сколько перетопили в Неве, на дно шли плоты, груженные боеприпасами, пушки, танки. Атака за атакой, опять в лоб... и опять в лоб... Рота за ротой шли на огонь. Батальон за батальоном переправлялись и в атаку. Мясорубку не останавливали. Потери никого не смущали. То есть начальников, наших бравых, наших исполнительных, не возражающих. Любой ценой. Добрались до немецких проволочных заграждений. Оказалось, резать их нечем. Нет ножниц. Приказ требует — любой ценой. Начинать атаку в пять утра, а тут выясняется — ни у кого нет часов.

— Представляешь, ни у командиров, ни у политруков, в обеих ротах, — Мерзон сплюнул, — огневые точки не разведаны. Откуда бьют, не поймешь. Сволочи, мало их постреляли.

Колено ему раздробило вместе с винтовкой. Взводный кое-как наложил повязку, остановил кровь, а поднять его, повести к берегу не мог, фриц не давал. Залегли между трупов. Ими укрывались. Форменный редут. Потом миной взводного убило. Наповал. От потери крови Мерзон ослабел. Стонал, вертелся, никак не мог боль унять. Самое страшное были крики раненых. Вопли, стоны, ругательства, мольбы возносились к небесам. Санитары не могли появиться, такой пулеметный огонь шел. Ужас смерти переходил в проклятия. Кляли фрицев, своих командиров, Господа Бога — все кругом было заполнено страданием, ненавистью, вонью тела, мертвечины.

— Покойники, я лежал на них, взводный смотрел на меня. Я закрыл ему глаза. Я им всем позакрывал. Их было пятеро. А что еще я мог для них сделать? Они вздрагивали, когда пули попадали в них. Иногда они подпрыгивали от близких разрывов. Редут был выложен еще до нас. Трупы уже стали скользкие.

Он не мог остановиться, ему хотелось рассказать про каждого мертвеца, там был один лейтенант, сапер, один кудрявый сержант, красавец, у него из груди торчал большой осколок. Можно сказать, эти солдаты защищали его, как могли. Делали свое дело. Доблестные защитники. Лучше, чем при жизни. Он вдруг захохотал:

— Знаешь, что меня занимало — куда от них сбежали вши?

Что-то безумное было в его тихом смехе. Смеялся он долго, словно еще что-то вспоминая. И опять рассказывал про мертвецов, как они стали «верными защитниками Отечества».

— Эти не подведут. Они не будут отступать. Заняли свою позицию намертво. Наконец они выполнили — ни шагу назад.

И еще в таком духе. Теперь он знал, как будет гнить и вонять. Хихикая, он признался, что рылся у них в карманах, нашел там кой-чего, например, махорку, а у кого-то презерватив и сухарь. Но тут явилась сестра и позвала его на перевязку. Он взял костыли, попросил меня подождать. Но я должен был идти.

— Все, я отвоевался, подчистую, — сказал он, — никаких иллюзий.

Личико его хитро сморщилось:

— Они меня кой-чему научили, — он подмигнул мне.

Громыхая костылями, он удалился по коридору.

Сестра провожала меня до выхода. Сказала, что он все чаще заговаривается. Выписывать его в таком состоянии нельзя. Психодиспансеры не работают. Что с ним делать, непонятно. Так он вроде безопасен.

— Жалко. Хороший человек. Ну, может, он вернется.

— Откуда?

— Доктор надеется, что удастся его избавить от этого бзика.

Я шел из госпиталя и всю дорогу сосал этот хвойный бисквит. У меня был кусок хлеба, корка величиной с ладонь, но я ее берег на вечер. Мне было стыдно, что я не отдал ее Мерзону, но голодная жадность была сильнее. На прощанье мы с ним обнялись, понимая, что мы уже не увидимся, вряд ли он выберется, вряд ли и я выберусь с передовой. Он молодец, завязал деловые отношения со смертью, привык к ней, а мы вот ни на чем с ней сговориться не можем — ждать или не ждать, то еще рано, то не успел. Он по крайней мере от страхов избавился, мы-то страхов натерпелись на несколько жизней, да еще терпеть и терпеть. То прячемся от нее, то идем к ней в пасть.

По весне наступало самое тяжелое — снега таяли, затопляя окопы. Вешняя вода не снегопад, не выбросишь лопатой. Ходили по колено в стылой грязи. За ночь подморозит, да так, что порой льдом выталкивает нас наверх, окоп не укрывает, хоть ползай по льду. Стоишь на посту по колено в ледяном крошеве, сменишься в землянку — тоже вода хлюпает, ляжешь на нары — сверху сквозь бревна наката сочится, капает, сука, пробивает ушанку. Почему-то не простужались,

зато голодуха добивала. За зиму сила из организма ушла, бидон вареного масла я раньше один таскал, теперь мы вдвоем несли отдыхая.

Я сочинял письмо для жены Ломоносова:

*Весна струится под ногами.*

*Журчит, течет со всех сторон.*

*У фрицев все уже подсохло, мы можем их атаковать,*

*В низину надо их прогнать.*

И дальше:

*Травка зеленеет, солнышко блестит,*

*Витамин поспеет, десны укрепит.*

Изощрялся, чтобы военная цензура пропустила. Мы сидели в низине, немцы наверху, и от них к нам текла желтая глинистая ледяная вода. Меня почти все просили писать стихами. Сочинял я плохо, рифма не получалась, шпарил чужое, то, что помнил.

*Миг встречи был краток, но вечно живой,*

*В душе отпечаток хранится другой.*

— Какой другой, — сказал Ломоносов. — Нет у меня никакой другой, ты что.

Весной я уже чувствовал себя не то что ветераном, а перестарком. Знал, куда упадет мина, когда лучше стрелять из пулемета, прожаривал белье, не дожидаясь вошебойки. Но появилось и незнакомое — ощущение того, что везуха фронтовая кончается. Из наших ополченцев осталось в батальоне пятеро, остальных забрал госпиталь или убило. Смертный срок подошел вплотную, по теории вероятности пуля немецкая вот-вот долетит. Пора было соображать какой-то зигзаг, хотя бы на время выбраться с передка.

### ***Придурки***

У комбата Литвинова была жена Мария. Не Маша, а Мария, так звал ее комбат и мы тоже. Раз в неделю она обязательно приходила к нам. Добиралась из города. Каким-то образом минуя все посты, заставы, патрули. Мы думали, у нее есть специальный пропуск,

выяснилось, что нет. Литвинов запрещал ей приходить, но ничего поделаться с ней не мог. Это была смешливая шумная бабенка, совсем не пара молчаливому, всегда подтянутому комбату. «Мне твои приказы нипочем», — заявляла она громогласно, расшатывая нашу дисциплину, ибо мы считали приказ комбата обязательным для всех без исключения.

Зачем она приходила? Ну, разумеется, проверить, как он жив-здоров. Приносила обязательно что-нибудь — теплые портянки, свежую гимнастерку — все выстиранное, выглаженное, умудрялась без утюга, ваксу для сапог, соленые огурцы.

Пропуском у нее служили эти самые соленые огурцы. В доме оставалась бочка засоленных с прошлого года огурцов. Они неплохо сохранились, и она выдавала по штуке на каждой заставе. Туда и назад у нее еще были соленые грибы. Не питательно, но поражало мужиков наотмашь, такого закусона генералы не имели.

Как ни странно, попасть на передовую было легче, чем вернуться в город. На обратном пути она то и дело попадала к смершевцам. Кто стремился в блокадный Ленинград, под бомбежку и снаряды? Известное дело — шпионы. Хитрые фрицы засылать могли именно таких баб, прочно замаскированных под этукую верную подругу.

### ***Комбаты***

Батальон терял людей от мороза, от обстрелов, больше всего потерь было от минометов, от голода, от цинги, от дистрофии, от дизентерии. Временами в роте оставалось до 15 человек.

Комбат обладал хорошим чутьем, он знал, как лучше расположить горстку своих бойцов, на каком секторе сосредоточить ночью, а на каком днем, чтобы не подставить людей под артналет. Его самого ни один осколок, ни одна пуля не тронули ни разу. За все время ни одной царапины не было на его белом полушубке. Ходил вразвалочку по окопам, как заколдованный. Сколько ему было, лет двадцать пять? Но никто не считал его молодым, он был опытный полководец. Ему помогало нерушимое спокойствие, иногда похожее на равнодушие. А еще физиономия, где всегда была готовность к улыбке.

Перед войной Литвиновы жили на Охте, в деревянном домике, с печками, погребом, колодцем. Домик достался Литвиновым от матери Марии вместе с маленьким огородом. Зять стеснялся этого наследства проклятого прошлого, но теща сумела отстоять свою фамильную собственность. Отец ее был учителем, автором знаменитого учебника математики, и дед был учителем, все они заготавливали соленья, варенья, собирали грибы. Так что в блокаду кое-какие запасы сохранились. Голодуха, конечно, забралась и сюда. Огородик Мария в октябре изрыла вдоль и поперек, разыскивая остатки картошки. Излазила дом, все повторялось, как у всех в блокадном Ленинграде.

История с двумя пьяными немцами стала широко известна. За языка полагался орден, в крайнем случае — медаль. Нашим ничего не дали. Дали штабникам из укрепрайона. Литвинов не обижался, говорил, пропадает яйцо, а не курица.

Как-то он послал меня провожать Марию после того, как ему пришлось ее вызволять у особистов, он посылал кого-нибудь из офицеров провожать ее до дома... К весне сил уже поубавилось, навещала она редко. Где-то в апреле комбат провожать отрядил меня.

Мария держала меня под руку. Она за эти месяцы заметно ослабела, отохла. Только смех остался прежний, заливчато-звонкий. Поводов для смеха вроде как не было, казалось, она смеется над тем, как мы ковыляем, шлепаем по окопной весенней воде, как подставляем под солнышко свою худобу. Смеялась над фрицами, над блокадой, над мужской нашей немощью. Изо всех сил сохраняла свою озорную личину.

О визитах Марии прослышало начальство, полковник из штаба УРа не преминул подколоть комбата, не можешь, мол, обходиться без своей бабы, может, поставить ее над батальоном? «Я вас понимаю, — невозмутимо ответил Литвинов, — бабами командовать легче, но не моей. Уверяю вас, не справитесь». Разговаривали они один на один, но все дела между командирами солдаты так или иначе узнают.

Володя Лаврентьев нам живо изобразил этот диалог.

Когда полковник сослался на авторитет Красной армии, который существенно страдает от визитов Марии, которая превращает нашу доблестную армию в партизанскую вольницу, комбат сразил его, кто

бы мог ожидать, — чем вы думаете? — спросил Лаврентьев. Он эффектно выдержал паузу:

— Ахейцы десять лет пытались взять Трою. Как вы думаете, товарищ полковник, если б за годы осады комбатов не посещали жены, смогли б троянцы продержаться?

— Троянцы нам не пример, — сказал полковник.

— А между прочим, Гомера проходят в школе, — сообщил комбат.

— Слушай, за свой район отвечаю я, а не твой Гомер, — решительно сказал полковник. — Кончай свою эрудицию.

Но можно считать, что комбат свою Марию героически отстоял.

Всю дорогу она расспрашивала меня про то, какое впечатление на пленных немцев произвел блокадный город.

— Расстроились? Видишь, подействовало, не могло не подействовать. На любого человека подействует.

— Так ведь они сами до этого довели, — сказал я.

— Когда они снаружи бьют по городу, это одно, а вот когда они внутри очутились, увидели, что они творят, это другое. Совсем другое. Обычных горожан до такого кошмара довели. И конца и края не видно, и для нас, и для них. От этого не отмахнуться, согласен?

В сумерках не видно было ее лица, возможно, оно было в слезах. Я взял ее под руку. Кое-где мостовая была разбита снарядами. За время блокады я научился различать в темноте черноту воронок, ни огонька, только иногда поблескивали лужи талой воды.

— Как ты думаешь, если б эту публику поводить по городу, подействует на их сознание? — спросила она.

— Допустим, и что дальше?

— Уже они будут не те солдаты.

— У нас передачи, агитируем их по громкоговорителям. Бесполезное дело. На них действует только сила, кулак.

Она долго молчала, потом задумчиво сказала:

— Кулак... Он у вас главное, а у меня ладонь. Я подумал, как это правильно, все в одной руке, можно кулак, а можно рукопожатие.

Через несколько дней меня вызвали к комбату. У него сидел наш комиссар Елизаров, спросил, чего это я наговорил Марии. Я понял, о чем идет речь. Оказалось, она ни много ни мало явилась в штаб укрепрайона, пробилась там в политотдел или к комиссару и

предложила пригласить немецких офицеров посетить город, посмотреть на блокаду, которую они устроили... Немцев, то есть фрицев, заклятых наших противников.

— Представляешь, к чему привела твоя подначка, — сказал Елизаров, — могли ее в психушку забрать.

Комбат присоединился к нему. Конечно, ему досталось. Не знаю, как они там выпутали Марию, может, свалили на меня. Меня же идея Марии восхитила.

— Ты чего лыбишься? — рассердился комбат.

— У вашей Марии дивное, нестандартное мышление. Надо же... Она молодец, такое придумать. Это может подействовать.

— Я так и думал, — сказал Елизаров. — Вот где корень. Отправим тебя в политотдел, там тебе вправят мозги. Как не стыдно посылать вперед женщину?!

Но комбат не захотел позорить батальон таким придурком-офицером. Они не знали, что делать со мной. Как отнестись к моим словам, к тому, что я принимаю этот абсурд и не считаю его абсурдом.

В самом деле, почему бы не попробовать? Разве Троянский конь не был абсурдом? А ведь ахейцы благодаря ему победили.

### ***Снаружи и внутри***

Другой мой комбат, Коминаров, был командиром иным, нервным и пылким, в нем бушевала энергия неутомимого дела, он мог отремонтировать танк, не имея ничего, у него был редкий инженерный дар. Я тоже кое-что выжимал из своего инженерного образования, из бочек с горючим придумал делать буржуйки, буржуйки работали неплохо, куда труднее было добывать к ним дрова. Но некоторые требования моего комбата Литвинова я выполнить никак не мог. Когда началась весна, надо было убирать трупы с нейтралки, а как их убрать, когда они за проволочным заграждением, да еще подступы заминированы, а схемы установки мин давно потеряны, где немецкие, где русские мины, не разобрать. А трупный запах с каждым днем усиливался, сладкий, тошнотный, от него дыхание перехватывало, и, конечно, нам казалось, что ветром его больше гонит на нас, чем на немцев. Когда немцы стали убирать трупы, велено было стрелять в них, но, честно говоря, мы не стреляли, а если стреляли, то больше вверх, для шума, мы были им благодарны, что они утаскивали эту гниющую массу.

Есть стадия дистрофии, когда голод отходит, уступая место вялому безразличию. Появляется легкость тела. В голове проносятся отрывки видений, никак не сосредоточиться. Движения замедленные. Ко мне обращаются — будто издалека. Все отдалилось, потеряло реальность.

Володя Лаврентьев раздобыл где-то банку американской тушенки. Кусочками он скармливал мне. Вкус ее сперва не доходил до меня, но однажды что-то прорвалось, я ощутил запах мяса, божественную прелесть тающего жира.

Дистрофиков отправляли в госпиталь.

Как я попал на койку, не знаю. Я провел там три дня.

## **Тыл**

Директора военного времени были хороши, делали невозможное — Зальцман, Новиков, Звизягин...

В июле 1941 года Сталин собрал совещание по выпуску винтовок. Оказалось, нет винтовок, не с чем воевать мобилизованным.

У Устинова спросили, может ли Ижевский завод увеличить выпуск винтовок с 2000 штук до 5000?

Устинов, как всегда, схитрил, уклонился — здесь мой зам Новиков, он с Ижевска, он скажет.

«Я встал и говорю: "Нам на это надо восемь месяцев". Берия — тоже как обычно: "Нет, три месяца!" Я говорю: "Это невозможно". Создали комиссию. Она струхнула, написала: три месяца. Я не подписал. Приносят заключение Берии, он смотрит: "Почему нет подписи Новикова?" Вызвали меня, я говорю: "Потому что это невозможно, восемь месяцев и то авантюра".

"Хорошо, — говорит Берия, — пусть будет восемь месяцев".

И потом он мне помогал. (2000 довели до 5000, потом до 12000 в сутки!)

Звонил Сталин, передал трубку Берии, тот говорит — я сказал т. Сталину, что если Новиков говорит, что сделает, то сделает.

Таким образом он как бы поручился за меня. Я решил это использовать. Звоню из Ижевска — нет угля! Нужны женщины из Тулы для пулеметных лент, а то у нас не получается. Сразу же помог. Он соображал и действовал оперативно».

Владимир Николаевич Новиков умел «топить» вопросы.

Хрущев потребовал создавать заводы кукурузного масла. Новиков договорился определиться после уборки кукурузы, посмотрим, какой будет урожай, и постепенно замотали.

### ***Вышел мой срок***

В начале 1943 года я стал лейтенантом. Вскоре меня наградили медалью, потом орденом. Я научился щелкать каблуками, начищать пуговицы, пришивать подворотнички — почти кадровик, хотя выправки не хватало. Мне нравилось щеголять кобурой с наганом, правда, нагана не было, а была напихана газета. Я чеканил армейское «Есть!», «Докладываю», освоил бедный, но четкий язык приказов. Гусарил, сфотографировался, заказал несколько снимков, прикидывая, кому бы послать свой новый вид.

Инженерная мысль моя кипела. Старое веретенное масло мы с Володей Лаврентьевым пустили на освещение. Вместо телефонных шнуров. Заместо фитилей. Они коптили, воняли и давали мало света. Для масляной коптилки придумал фитиль.

Однажды ко мне в землянку заявился начарт батальона Карпенко с бутылкой водки: «Есть к тебе разговор». Он долго приступал к этому разговору, подбирая нужный тон, хотел перейти на дружелюбный и никак не получалось. Суть его прихода состояла в том, что получен приказ направить на курсы танкистов от нашего батальона одного офицера. Комбат предложил Карпенко, боевой офицер, артиллерист и все прочее. Но Карпенко это не устраивало, и он предложил меня, но комбат промолчал. К танкам я вроде ближе. Карпенко расписал мне прелести этих курсов, которые пройдут в Ульяновске, — не меньше, чем полтора месяца тыловой жизни, затем формирование, считай, еще месяц. Не шутка. На два, а то и на три месяца уехать с передовой, прокантоваться. Спать на простынях, есть горячие обеды. Счастливчик! Я не мог понять, он-то чего отказывается, пытал-пытал, пока он не признался. У него, оказывается, есть свой план. Его уже представили на звание капитана, ему надо здесь дожидаться, там, на курсах, не дадут.

Володя подтвердил мне, что Карпенко, получив капитана, мечтает перейти в армейский штаб, у него все поэтапно разработано. Стать танкистом слишком рискованно, танк — это ненадежная скотина, до большой звездочки на нем не добратся. У Карпенко свой лозунг: «Если могу стадо водить, чего же в стаде ходить». Был у Карпенко еще аргумент, он высказал, когда мы уже были поддавши. «Ты, — сказал он мне, — свой срок выбрал. По теории вероятности, твоя везуха должна кончиться, твоя пуля вот-вот по-летит в тебя, шутка ли — полтора года на передовой».

Я и сам в последнее время это чувствовал, сколько можно от кондрашки уворачиваться, нужно прерваться. Чтобы счет заново начался. Я поговорил с комбатом. «Если ты сам срок чувствуешь, — сказал он, — то я подпишу. Хотя жалко».

Короче говоря, в один прекрасный день я прибыл в Ульяновское танковое училище. В заслуженное. Известное. Нас набралась целая рота, все боевые офицеры с разных фронтов. Изучать мы должны были новую машину «ИС». Жизнь вдруг повернулась. Казарма, двухэтажная кровать. Надо аккуратно заправлять койку. Побудка. Завтрак. Классы. Строевая. Вечером можно в город.

Гонял нас старшина. Зверюга. Ему сласть была орать на офицеров, чтобы ножку давали, чтобы пели походную. «Плохо поете. Крутом! Вы

у меня будете топать, мать вашу, пока не запоете в один голос!»

А город был сказочный. Бульвар с цветущим жасмином. Шли мужчины в галстуках, бежали школьники с портфелями, было полно молодых женщин в летних платьицах, завитые, румяные... Откуда столько невоющих мужиков? Они курили папиросы. Можно было ехать на автобусе. Из булочной пахло настоящим печеным хлебом, я зашел туда. Все полки были уставлены буханками и батонами. Жизнь вдруг стала обновкой. Окна здесь были чистые, без бумажных крестов, продавали газеты, цветы, семечки, боже ты мой, другая планета. Ходить в город можно было хоть каждый вечер, на танцы и даже домой к девицам. Почти каждую неделю мы дрались с летным училищем. У них было прозвище «вентиляторы» из-за пропеллера на погонах. После какой-то драки нас вызвал начальник училища, генерал Кашуба. На финской войне он ногу потерял. Получил Героя. Усадил за стол, спросил:

— Как дрались?

— Кулаками.

— Это правильно. Повод был?

— Выпили.

— Нормально. Как пьете?

— Как обычно.

— Что именно?

— Самогон.

— Это тоже естественно. А правила соблюдаете?

И преподнес нам три правила для выпивки:

— Когда.

— С кем.

— Сколько.

Город хвалился домом Ульяновых и немного писателем Гончаровым. Я пошел в мемориал. Долго стоял перед портретом Александра Ульянова. Его юношеский облик казался мне симпатичным. В музее было пусто. Ко мне подошла сотрудница, спросила: «Верно, хорош? Это редкое фото. Его не печатают». Я хотел спросить, почему, но сам сообразил. А она еще сказала, что мать хотела его спасти. И рассказала, как после суда мать хлопотала о свидании с Александром, хотела уговорить сына написать прошение

царю о помиловании. История эта была тогда мне неизвестна. Мать с трудом добилась разрешения свидеться с Александром, приговоренным к смерти, это было запрещено. Она стала умолять сына, бросилась перед ним на колени. Александр ни в какую. Он сказал: «Мама, представьте, что я вызвал человека на дуэль, сделал выстрел, промахнулся, а теперь прошу его не стрелять в ответ». Так и не написал. Рассказчица разволновалась: «Господи, вы представляете себе, какое было рыцарское чувство чести». И заплакала.

Ульяновск (Симбирск) оставался обыкновенным губернским городом России. Без коренных перестроек, старые дома, много деревянных, здесь все становилось известно. Неудивительно, что до революции еще ходили слухи о романе матери Ильича, о его незаконном происхождении. В таких городах всегда живет история утаенная, слухи, сплетни. В годы войны в училище я услышал рассказы про финскую компанию 1939—1940 годов, про наши чудовищные потери, про финских кукушек и про то, что у финнов были рукавицы с двумя пальцами, чтоб можно было стрелять.

Блокадный Ленинград и Ульяновск, два эти города никак не могли у меня совместиться. Героизм Ленинграда и провинциальный уют Ульяновска. Я предпочитал последнее. Хотелось этой жизни, в тишине, вдалеке от Истории, все знакомы, событий мало, и те маленькие. Ульяновск был хорош, тем более, что моя Старая Русса сгорела в огне войны, и Лычково — все то, что было связано с моим детством, все обстреливалось, разорялось...

По окончании курсов нас отправили в Горький. Там практиковались на танкодроме: танки уступом справа, уступом слева. Стрельба с остановками, без остановок, на ходу, из пушки 122-миллиметровой, из пулеметов. По танкам противника, по фанерным домам. Заправка. Ночевка на земле. На снегу. Постелить лапник, укрыться шинелью — это «полевые» условия, как будто мы не нахлебались ими сполна, настоящими, а не учебными.

В Горьком меня привлекли готовить учебные пособия, рисовать танк в разрезе и так, и этак, диаграммы. За это позволили жить привольно. Жил я с напарником, Андреем Корсаковым, снимали комнату в частном доме. Мы с ним еще затеяли одно техническое устройство. В танке в бою неудобно — если ты по рации связан с начальством, то в это время внутренняя связь отключается, механик-

водитель не может сообщить, что там показалось на дороге. И вот стали мы с Андреем возиться со схемой, кое-чего добились, начальство обрадовалось и с ходу нацепило нам по звездочке. Я стал капитаном. Ну, тут я написал Римме, чтоб она приехала, пока такая вольготная. Она сумела добраться, сроком на три дня. Выглядела неплохо, не то что я. Сказалась блокада. Она не удержалась: «Да, досталось тебе». Впервые я понял, что тоже могу постареть. В 21 год постареть? Это было непросто. Она старалась за эти три дня меня подкормить, наладить нашу жизнь с Андреем. Я гулял с ней по Горькому, было какое-то подобие свадебного путешествия. Вернулась прежняя близость, прерванная войной. Не совсем. Появились табу, она не возобновляла разговоров о моем возвращении на завод, я не защищал свою армейскую службу.

Когда сформировали нашу танковую бригаду, то отправили нас за машинами в Челябинск на танковый завод. Сформировали — это значило — назначили трех командиров взводов, в каждом взводе три машины, а меня командиром роты: во-первых, капитан, а они старлеи, а еще результаты стрельбы сказались.

В Челябинске завод никак не подходил на завод — сборочный цех, где мы работали, достраивался, стен не было, была крыша, мостовой кран и кирпичный брандмауэр, где стояли отопительные батареи, задувал снег, детали машин обрастали инеем. Мы должны были помогать сборщикам. Детали тяжеленные, и к ним не прикоснись, обожгут морозом так, что руки липнут. Сборщики — подростки-ремесленники, бледные, слабосильные, и женщины, укутанные платками. Командиров взводов я помню каждого до сих пор — Сашу Морозова, этакий битюг, Клим Васильчук, учитель математики, тощий он, с мясистым пористым носом.

Командиры взводов подобались удачные. Васильчук, старший из всех, Вася Фролов, самый молодой из нас, очкарик, работал корректором в издательстве. Сдружились сразу. У каждого во взводе три машины, всего девять, у всех пушки нешуточные — 122 миллиметра, двигатели на дизтопливе. Отличная машина. Я поместился добавочным в башне у Фролова, я выбрал его как самого худенького, чтоб не было нам тесно. Экипаж — четыре человека, а командир роты куда-то должен был приткнуться пятым. Место для

командира роты было как бы предусмотрено, добавили триплекс, и все, так что было тесновато. У меня было свое сидение, своя радиосвязь.

И в Челябинске, и в Горьком во дворах стояло несколько подбитых машин, их приволокли для изучения, зрелище было жуткое — машины были горелые, пробитые бронебойкой, искореженные неизвестным нам способом, какие-то команды отскоблили внутри горелое мясо, но все равно внутри воняло. У человечины свой отвратительный запах. Вид этих подбитых машин не вдохновлял.

В Горьком мы погрузились в эшелон, ставить такую махину на платформу надо очень аккуратно, это дело ювелирное, чуть-чуть, почти по сантиметру, подниматься, развернуться. Мои взводные запоздали, грузились без них. Явились сконфуженные, отговорка у них была — часов нет. А между тем, всем взводным были выданы часы ручные, специальные, со светящимся циферблатом, а эти мерзавцы признались — пропили. Так и поехали на фронт с одной парой часов, что была у меня.

Новые танки были хороши, вооружены, ничего не скажешь. И вот что интересно: танки английские, американские были много хуже наших, по крайней мере те, с которыми мы имели дело — «Валентины», «Матильды». А вот их автомобили, американские «виллисы», «студебеккеры», армейские машины — хороши, ни в какое сравнение не шли с нашими драндулетами. Почему так сложилось? Все годы советской жизни никак не получался у нас хороший автомобиль, копировали, заимствовали — и все не то, все хуже, все ненадежно, бензин жрет, тарахтит, проходимость никакая, в разы хуже и английских, и американских. В чем дело? Никто не понимал. Вроде не такая уж сложная машина, много разных конструкторских бюро, и ничего не получалось. Почему так?

Еще в Челябинске мы обсуждали это с конструкторами танковыми и сошлись на том, что автомобиль легкой по сути своей предназначен для личного пользования, для хозяина, для его семьи, это личностный предмет, но в том-то и дело, что для личного пользования мы ничего делать не умеем. Оказывается, можем делать для сельского хозяйства, для обороны, т. е. для чего-то, а не для кого-то. Ради человека стараться не обязательно. Тем более, если этот человек —

неизвестно кто такой, он — частный, а это значит, скорее всего, ничего.

В Горьком меня ждало письмо от Ермакова. Каким-то образом он выяснил, что его Таисию угнали в Германию. С той деревни всех молодых женщин угнали.

Мы жили в Канавине. Мы с Андреем ходили на рынок, одевались в штатское и на рынке выменивали свою махорку, водку на рыбу, на печенье. Удивительно легко мы вошли в рыночно-торговую жизнь, приглашали начальство, устраивали пирушки. Несмотря на эту привольную тыловую жизнь, во мне еще держалась блокадная худоба, все на мне висело, и гимнастерка, и шинель, ни Римме, ни Андрею не удавалось меня откормить. На фотографии тех лет я выгляжу каким-то истощенным, маленьким заморышем. Горьковский начальник предложил остаться в полку ведать кабинетом учебных пособий. Нас с Андреем зачислят в штат, поставят на полное офицерское довольствие — и все будет тип-топ.

В который раз я очутился на развилке судьбы: можно направо, можно налево. На фото Андрей Корсаков стоит рядом, через него я вижу и себя. Какие мы молодые, какие глупые! Как моя судьба могла довериться мне? Что меня выручало или, вернее, не выручало, а что определяло мой выбор, почему опять я выбрал войну? Уже опостылела она, уже ничего не осталось от ее романтики, от патриотического пыла июньских дней сорок первого года, а вот, поди ж ты, отказался от кабинета наглядных пособий, от такой мирной, приятной работы. Почему? Не могу понять этого Д. Вглядываюсь в свою фотографию тех лет, в свою бледную исхудалую физиономию — нет ответа.

\* \* \*

Наступление окрыляло. Мы неслись, нарушая расчеты штабных оперативников. Не считались сами с потерями, хотя их стало куда меньше. В мае 1944 года немецкие солдаты, так же как мы в сорок втором, пробирались ночью по болотам к своим, не успевали догнать отступающий фронт.

Мы застряли в какой-то зыбкой пойме, тяжелые наши машины уже погружались, когда по радио командир полка сообщил, что впереди разворачивается навстречу нам немецкий дивизион. Откуда что

взялось? Танки наши словно подстегнуло. Рванули, выскочили на шоссе, понеслись прямо на указанный городок. Все их названия, маленькие площади с ратушами слились в одно испуганное сборище, с безлюдными улицами, задраенными витринами, окнами. И мы несемся, шпарим на ходу из пулеметов, в кого, зачем, неизвестно, это от полноты торжества. Небо наше, небо занято нами полностью, дождались.

Дороги немецкие — одно удовольствие, словно созданные для тяжелых танков, мосты надежные. Будь у нас такие, не знаю, устояли бы мы. Дураки и дороги, как писал Пушкин, а вот русские ужасные дороги выручили. Дураков приспособить не удалось.

Жизнь постигается, когда она проходит, оглянешься назад и понимаешь, что там было, а так живешь, не глядя вперед, откуда она приходит. У каждого время отсчитывается по собственным часам. У одного они спешат, у другого отстают, какое правильное — неизвестно, не с чем сверить, хотя циферблат общий.

В наступлении время помчалось как никогда раньше. Мы не успевали обозревать новые пространства, рощи, сады, пруды, незнакомые пейзажи появлялись и исчезали в сизом дыме выхлопов.

Где-то в Эстонии танки, дойдя до реки, уперлись в деревянный мост, на вид хлипкий. Морозов шел впереди, он попятился, разогнался и буквально перелетел, мост вздрогнуть не успел, за Морозовым также на полной скорости помчались остальные. Чуть помедленнее, и грохнулись бы. Потом Морозов объяснил: он бы, конечно, остановился, осмотреть мост, прикинуть, выдержит ли такую махину, все же 46 тонн. Думаю, осторожно этот мост не переехать. Многое тогда решали лихостью.

### *Последний стих*

Нас было еще много. Сил хватало на все — на страхи, на голод, на то, чтобы таскать снаряды, пушки, раненых и снова рыть, мерзнуть в танке, спать на снегу, ликовать, когда возьмем какой-то пункт, от которого осталось пепелище. Мы не только выиграли эту войну, мы вытерпели ее. В результате нас осталось немного. Много инвалидов, много вдов и беспризорных детей. Надо было восстанавливать разрушенные города, лечиться в госпиталях, стоять в очередях, снова

картошка, снова каша, но не от старшины, а по карточкам, драные носки и та же водка, только похуже.

*Здравствуйте, друзья-подруги,*

*Здравствуйте, родители.*

*Пришли вдвоем на трех ногах*

*Фашистов победители.*

Когда я наконец оглянулся, то никого не нашел. Все ушли кто куда, мне казалось, что я их позабыл. Нет, они ждали меня, и стали появляться. Я стал вспоминать о каждом хоть немного, вытаскивал их из тьмы — Сашу Морозова, Левашова, Мерзона, Трубникова, Медведева, они не знали, что в Ленинград мы немцев не пустили, войну выиграли. Они погибли, так и не узнав, чем это кончилось. Это несправедливость, с которой ничего не поделаешь. Забвение уносит их от нас, и не знаешь, как придержать эту реку времени.

*Река времен в своем стремленье*

*Уносит все дела людей*

*И топит в пропасти забвенья*

*Народы, царства и царей.*

Так, умирая, написал Державин. Стих этот следовало бы поместить над входом в Кремль.

Великая Отечественная стала преданием, «река времен» унесла и ее в Историю, где пребывает Первая мировая, Гражданская война и прочие войны русской истории. Школьники, да и студенты не видели в лицо живых участников Великой Отечественной, это было когда-то с их дедами, уже с прадедами. Как говорил Женя Левашов, «Все войны одинаковы для солдат, которым приходится отправляться на тот свет». Он утверждал, что рядовых там принимают без очереди, не выясняют грехи, погибший солдат безгрешен, ибо не он затеял войну. Слушая Левашова, мы верили, что он пребывал на том свете не раз, а между тем он за три месяца боев не ранен, не контужен и не был даже убит. Когда я вспоминаю Левашова, я сразу вижу рядом с ним бледного блокадного дохляка на фоне этого амбала, он много и шире меня и выше, гимнастерка сидит на нем как литая, а медалька — как начало целой шеренги орденов. Дохляк — это я, лейтенант Д. Мы с этим лейтенантом давно перестали понимать друг друга, после первых

месяцев войны. Его поступки казались мне бестолковыми, я видел его ошибки, которые уже нельзя было предотвратить. Конечно, у меня есть преимущество, потому что я знаю, как повернутся события и что будет с ним, с этим Д. А ему, бедному, откуда ему знать, что через месяц начнется блокада Ленинграда, что надо было бы приберечь сухари и посоветовать то же другим, а особенно родным. Тем не менее есть поступки, которые мне понять трудно: зачем, например, он согласился остаться в штабе полка вместо полковника Лебединского. Подозреваю, что этот лейтенант Д. не хотел упустить такой шанс побыть командиром, чтобы потом можно было сказать: «Всякое бывало, пришлось даже командовать полком». Это я теперь понимаю, сколько в нем было тщеславия.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



*Мой школьный друг*

Вадим Пушкарев погиб в первые недели войны под Ораниенбаумом. Похоронок не было. Он считался без вести пропавшим. Вся их часть считалась пропавшей без вести. Родители Вадима, мало того, что не получали никакого пособия, они так и дожили свою жизнь, не зная, был ли их сын дезертиром! Неизвестно, что стало со всей их частью.

— А вдруг перешли на сторону врага? — сказал мне военком уже после войны.

— Презумпция невиновности? — он вообще не знал, что это такое.

— Если раскопают, найдут его труп, — любезно пояснил он, — и при трупе медальон с фамилией, тогда можно хлопотать.

— Вы воевали? — спросил я.

Он аж скривился от возмущения:

— Начинается. У вас только тот, кто воевал — тот человек. Интересно, а откуда вы пополнение получали?

Такой вот был разговор.

### ***Восточный район***

Нужна не серия «Жизнь замечательных людей», а серия «Замечательные жизни незамечательных людей». Жизнь достается либо как подарок, перевязанный розовой ленточкой, либо как обязанность. Разворачиваешь — чего там только нет. Всегда сюрпризы. Всегда праздник. Примерно так я думал о себе, когда вернулся с войны живой, в основных своих частях невредимый. Удивление перед этим подарком не проходило.

Январь 1945 года. Война выиграна, вопрос лишь в том, как быстро мы дойдем до Берлина. До Кенигсберга. До Будапешта. Где остановимся. Это меня уже не касалось. Я демобилизован. Отозван из действующей как специалист. Энергетик. Кадровики выискали среди тысяч офицерских дел мою папку. Ну и ну — «Инженер-энергетик». Написал бы просто «инженер», и все, не отложили бы, не внесли в список, и остался бы я в своем обреченном танковом полку. Потому как после моего отъезда там, под Кенигсбергом, почти всех моих уложили, и Сашу Морозова, и Васю Фролова, остался, кажется, лишь Васильчук. Это я узнал.

Радость, бесстыдная, пришла не сразу, оттого, что вырвался, уцелел, она нарастала еще в эшелоне. Ехал на крыше. Пили, не просыхая. Перед туннелем или мостом надо было ложиться. Двоим снесло головы, прямо на нас валилось из разбитого черепа... Двое пьяных свалились. В вагонах ехали дети и женщины. Освобожденные из оккупации. Вагоны были набиты до стоячка. Старшие командиры, какие-то штатские. Шла частичная демобилизация. Отзывали нас и строителей.

Кожаная черная куртка, кожаные штаны, танкист. Шлем. Запасные портянки. Это в мешке. «ТТ» — в кармане. Положено было сдать, но как бы не так. Безоружным? Отвык.

Гимнастерочка, ордена, медали, пусть негусто, но побрякивает. Зато гвардеец, зато танкист. В Москве, в министерстве энергетики, на фоне чиновной шушеры я выглядел будь спок, ощущал свою подтянутость, и уверенность, и право не снимать фуражку, свои полевые погоны, начищенные хромовые сапоги, свою молодость и бывалость, въевшиеся в меня, казалось, навеки, запах солярки и стреляных гильз. Они тут меня пытались поставить на место своими вопросиками по трансформаторам, аккумуляторам, генераторам и прочей электрификации всей страны. Думали, я все подзабыл. Может, и подзабыл. На войне мы другим заняты были. Но, к вашему сведению, основа у меня прочная, Ленинградский политехнический, первый в России. Так что мы голубых кровей. Впрочем, мне плевать, после фронта все нипочем. В штрафбат не пошлете.

Чем-то я понравился министерским девицам. То, что я им нравился тогда, это факт. Понравился счастливой беспечностью. Такое ликование было во мне, так я ни о чем наперед не хотел думать, что они сами забеспокоились, взялись устроить получше. Ленинградец? Жилье в Ленинграде есть? Прекрасно. Ленинграду требуются... Донбасс, Смоленск подождут.

Желто-белое здание «Ленэнерго» на Марсовом поле. Там я уже работал, проходил дипломную практику. Регулятор частоты. Был такой изобретатель Островой. Он меня запряг. До поздней ночи я помогал ему снимать кривые, точку за точкой, режим за режимом, поддерживать частоту в заданных пределах. Частота тока — это его качество. Обычно не замечают — горит, и ладно, крутится мотор, и

хорошо. Островому хотелось качества, ровно пятьдесят герц, ни больше, ни меньше.

В «Ленэнерго» опять кадровики. Посмотрели бумажки, посмотрели на меня.

— Куда вас? Требуются на Свирскую ГЭС, требуются в высоковольтную сеть, можно на ТЭЦ, поезжайте посмотрите.

— Никуда я не поеду. Решайте сами.

— Ладно, погуляйте, мы решим.

Погулять — это можно, к этому мы готовы.

И пошло, и закрутилось. Кто где, ребят отыскал из школьных, из институтских, кто в госпитале, кто в городе. Из прежней дивизии народного ополчения. С Кировского завода. И каждая встреча — пир горой. Живы! Пьянка, гулянка, слезы, байки, рассказы.

Четыре года назад шли в народное ополчение с подъемом. В очереди стояли записываться. Во-первых, защитить, во-вторых, дать фашистам по мозгам, в-третьих, было во мне неистребимое мальчишеское — повоевать. Негодование, и оно было во мне — как же так, мы с ними по-хорошему старались, с гитлеровцами, а они взяли, коварно, без объявления войны, напали. Подлость. Надо их за это наказать.

На войну! С таким чувством — вспомнить и смешно, и стыдно — проучить! Война прочистила мозги, рад, что выбрался с руками, ногами. Хотя, если по-честному, то армейского кадровика просил обождать с отчислением. Дело в том, что у нас готовилось наступление, и полк наш должен был участвовать в прорыве. На роту мою, тяжелых танков «ИС», возлагалась задача выйти на левый фланг, развернуться и пройти в тыл власовской дивизии и артиллерийским частям. Я на переднем крае двое суток проползал, изучал, наблюдал, потом своим командирам машин показал, по какому маршруту, где, что...

И тут вдруг вызвали, отправляйся, даже не попрощаться. Это как поймут? Сбежал, воспользовался...

Полковник, начальник кадров, слушал меня, не прерывал. Дал выговориться. Смотрел, не поймешь, о чем он думал, о моих словах, о том, что я за человек, еще о чем. Потом сказал: «Ну и мудака! Сгореть хочешь? Не навоевался?» В его фразах было сказано куда как много.

Чтобы сказать много, надо мало говорить.

Иногда я возвращался к его словам. Почему он остановил меня? Доводы мои отверг пренебрежительно, не одоблив, не похвалив, видно, устал за войну от огромных, бессмысленных потерь, о которых не смел заикаться.

Даже научившись воевать к концу войны, мы продолжали бессчетно транжирить своих. Хорошо воюет тот, кто воюет малой кровью. Об этом знали все, но никто с этим не считался, наверху не считались, и вниз шло. Если считали, то сколько танков сгорело, на сколько километров продвинулись. Командующих оценивали не по убитым. Интересно, как выглядели бы репутации некоторых прославленных маршалов, когда им зачли бы убитых.

Однажды в Голландии посол Пономаренко, бывший руководитель партизанской войны, признался мне, что пишет историю Отечественной войны с точки зрения потерь, вещь в те годы запретная. После окончания войны держали в секрете цифры убитых, раненых, взятых в плен. В «Энциклопедии Великой Отечественной войны» не было слово «потери». Судя по этой энциклопедии, где есть все, потерь в Великую Отечественную не было. Представляю, сколько мой полковник-кадровик нахлебался за свою штабную жизнь, какие списки, какие цифры докладывал, что делали с этими цифрами. Он-то знал, что мне выпал счастливый билет, и понимал, что нечего дурить.

Так оно и было. Роту мою раздолбали. Машины подбили, две сгорели. Сгорел, как мне передали, в машине Саша Морозов, который остался командовать ротой вместо меня. Никто в Ленинграде не знал моих однополчан, помянуть мне было не с кем. Я говорил: «За Сашу Морозова!» — а что для них был Саша Морозов, если они не видели его, не пели с ним, не гуляли, не работали на сборке в Челябинске, где мы получали свои машины.

Погиб бы я вместе с ними? Спасла бы меня моя звезда? А может помог бы им мой опыт военный?

Не было ответа на эти вопросы, поэтому время от времени появлялись опять, особенно если выпьешь. Ночью снились. Я радовался тому, что жив, и чувствовал свою вину. Никто из них ничего бы мне не мог сказать, был приказ не чей-то, а ГКО, то есть Государственного комитета обороны, так что заткнитесь. Никто ничего не мог сказать, кроме меня. Такие вот пироги.

Месяца полтора я не являлся в «Ленэнерго», пока не прогулял всех денег, что получил, выйдя на гражданку. Полагалась какая-то сумма на обзаведение, фактически нам на пропой. Демобилизованные гуляли. Мы узнавали друг друга в шашлычных, в пивных, в забегаловках. Фронтовики. Те, что стреляли. Других мы не признавали своими, все эти боепиты, горюче-смазочные, банно-прачечные, штабники, ОВС — все это была тыловая шушера. Признавали только связистов и медиков. Ордена тоже не шли в счет. Орденов штабисты нахватили больше всех. Кто дает, тот имеет.

Чуть что, мы подступали с вопросом: «А ты кто такой, ты где хоронился в войну, крыса тыловая?» С милиционерами не стеснялись, с управхозами, железнодорожниками, кондукторами, чуть что: «Закрой пасть, падла», а то еще за пистолетом в карман. Без погон, конечно, я был не обозначен. Все равно выступал кавалергардом. Задибался. Хамил. Обижал.

Ленинградцы себя в обиду не давали. Те, кто блокадники, хотя и не стреляли, натерпелись такого, что нам, фронтовикам, представить себе невозможно.

— Вы на фронте от голода не подыхали, человечину не ели. Вас столько не бомбили, в вас столько не стреляли.

— Вы на город посмотрите, а не на свои погремушки, во что город превратили.

Город зиял развалинами, кое-где огороженными заборами, и синей краской — сохранились надписи: «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле». Еще на окнах оставались бумажные кресты, много окон было зафанерено. Самой ходовой специальностью стали стекольщики. Во всех хозяйственных магазинах работали стеклорезы. Комиссионки были полны трюмо, пианино, роялями, люди избавлялись от громоздких вещей. Возвращались эвакуированные. Кто-то торопился избавиться от награбленного у соседей в годы блокады.

Деньги кончились, и я появился в «Ленэнерго». Оказывается, судьба моя вчерне была уже решена. Оставалось явиться пред светлые очи начальства кабельной сети, куда меня определили, — директор Грознов Михаил Иванович. Вид у меня был еще тот — опухший, мутный, — но каблуками щелкнул браво, сел в предложенное кресло

пряমেхонько, фуражечку держал на согнутой руке, отвечал коротко, по-военному.

Грознов, мужчина весь в ширину, брови толстые, как усы, основательный, пытливый, прежде всего захотел понять, выпиваю я или пью. Потом стал выяснять, что это такое — комроты танковой, сколько людей, каких, что с ними делать приходилось. Его не мои знания интересовали, а управлюсь ли я с людьми, потому что кабельщики люди вольные, все равно что казаки, и командовать ими надо умеючи. Через день я был утвержден начальником Восточного кабельного района. Должность небольшая, если в масштабах «Ленэнерго», и большая, если в жизни города.

### *Дом*

В начале 1944 года Римма вернулась в Ленинград. Рожать. Поселилась в нашей комнате. Квартира была пуста. Еще не съехались эвакуированные жильцы и фронтовики. Римма нашла печника, поставила плиту в нашем тесном пенале. Кухня далеко по коридору. Она боялась ходить туда, там хозяйничали крысы. Они первые после блокады реэвакуировались в город. Почувяв съестное, они прогрызли дыру в нашу комнату. Она заткнула дыру осколками бутылки.

Дрова для плиты покупала на Кузнечном рынке. Это за два километра. Дрова продавали вязанками. Купит вязанку и везет ее на трамвае домой. Спешит. Маринка там лежит одна. Привезет и тащит эту вязанку дров на пятый этаж. Греет кашу для дочки.

Меня демобилизовали в конце 1944 года. Приезжаю, застаю вот эту картину. Надо было застеклить окно, раздобыть стол, стулья, кровать. В блокаду соседка все сожгла. А на работу в «Ленэнерго» надо к 8 утра, а возвращался поздно вечером. В перерыв поезжай за молоком для маленькой на молочную кухню, не помню, как она тогда называлась. Вот так начиналась наша жизнь послевоенная, хотя война еще продолжалась. Где-то. В Европе. Без меня.

Жизнь уже считал послевоенной. А ликовать кто будет? Гуляй, Вася, имею право, жизнь выиграл, досталась как праздник, чтобы вместо тех, своих, кто не уцелел в этой распроклятой жизнерубке.

Честно говоря, не так я себе представлял возвращение. Салюты, победные сводки радовали, а жратвы не хватало. Карточку я получал рабочую, Римма тоже, плюс на ребенка, а все равно не хватало. С этим кое-как справились, хуже было с жильем — холодно. Плиты ей соорудили тут же, в комнате, и готовили, и топили. Деревянную кровать вспоминал, изготовлена была отцом, покрашена красной масляной краской, мы ее называли «из красного дерева». Не стало и ее. В мебельных магазинах антиквариат. Цены немыслимые. Обедали на подоконнике. Явился ко мне Акимов, мастер-кабельщик, пожилой, хромоногий, роста небольшого, лицо лиловое, помороженное, несмотря на это, симпатичен. Сказал, что директор отправил его поставить в нашу комнату счетчик, чтобы электричеством подтапливали. Когда пришел ставить, увидел нашу неустроенность и решил, что трофейное мое имущество где-то отдельно лежит, узнав, что нет его, удивился. Покряхтел, покурив в коридоре, предложил пойти вечером посмотреть мебель. Мебель была в заброшенном трансформатном помещении — ТП, у всех мастеров на участках были такие ТП — двери железные, на них устрашающий череп, надпись про высокое напряжение. Явился он к ночи, с тележкой, и отправились мы с ним и с Риммой по пустым ночным улицам. По дороге Акимов не переставал удивляться, как это я вернулся без всяких трофеев.

— Что вы все удивляетесь, — сказал я сердито, — что мы, ради барахла воевали?

— А спать на полу — это как? — спросил Акимов.

Сказал, что лично он приветствует тех, кто кое-что прихватил из Германии, не осуждает даже тех офицеров, кто грузовиками возил всякое шмутье, это нормально, фашисты наших обирали, что в деревнях, что в городах. Да они и своих евреев обобрали. Не стеснялись. На войне трофеи положено брать. Государство наше тоже берет, кабель вывозит, трансформаторы, а уж ленинградцам и вовсе полагается. Он знал двух генералов, которые пригнали из Восточной Пруссии к себе вагоны с немецкими отрезами, картинами.

— И что с того?

Нет, я был не согласен. Получалось, что мы ничем не лучше гитлеровцев, такое поведение позор нашему офицерству, нашей армии. Тут Римма толкнула меня в бок, а потом, улучив момент, предупредила, чтоб я придержал язык.

— Здесь не передовая с вашим дурацким правилом, чуть что: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». Здесь у нас и дальше пошлют, и такого дадут — пули попросишь.

Как-то вдруг она стала старше меня, смотрела на меня как на недоумка. Дома убеждала, что время наше кончилось, в смысле вольницы. Я не желал про это слушать, «наше время» — да оно не начиналось. Чего ради мы воевали? Опять помалкивать? Не пойдет.

Я спорил с ней по-глупому, неловко вспоминать, как я хорохорился. Она знала тыловую жизнь лучше меня. Деньги в тылу значили совсем немного, значил блат, прежде всего блат. В городе все зависело от партийного начальства — прописки, ордера... Городская жизнь сильно отличалась от фронтовой. А ленинградская жизнь отличалась от московской. Эвакуированные в войну горожане рвались обратно в свой город. Неважно, что дома их разбиты, сожжены, все равно назад. А город их не принимал, в первую очередь городу нужны были строители — восстанавливать дома. Не учителя, не бухгалтеры, не артисты. Из ближних областей вербовали народ — лимитчиков, деревенских людей, чернорабочих, это был псковский, вологодский народ, диалект, телогрейки, семечки... Для них непривычен был и трамвай, и «Пассаж», и дворовые помойки. Но что делать. Однако город пересиливал их сельские привычки. Что-то было в Питере, душа, что ли, нрав, то, что не позволяло растворить питерскую культуру. Они, приезжие, не ведали, чем была для города блокада и что это за надпись: «Эта сторона улицы опасна». Газоны здесь не косили. На рынках продавали одежду, обувь и совсем мало продуктов.

В домах надо было заделывать дырки от снарядов. Разбирать завалы. Работали наспех. Горожанам негде было жить. Селились в дотах, тех, что остались со времен блокады.

Итак, мы отправились за мебелью. Я с трудом уговорил Римму пойти с нами. Был декабрь. Снег убирали еще плохо. Дверь ТП была завалена сугробом. Мы разгребали его руками, потом долго обивали лед у порога. ТП был в темном переулке. Когда открыли дверь, внутри оказалось тепло. Слабенькая лампочка еле осветила нагроможденную доверху мебель. Табуретки, кресла, трюмо, этажерка, ковры, матрас, стоймя кушетки, старинная фисгармония. Чего тут только не было, пахло сухим деревом.

Мы выбрали три стула, тогда еще в ходу было название «венские стулья». Римма сразу присмотрела в глубине узенький фанерный шкафчик, обшарпанный, хлипкий. Акимов предложил другой — дубовый, низенький, но она отвергла, слишком много занимает места. Еще он предлагал трельяж, овальное зеркало в резной раме черного дерева. Римма высмотрела там пятна. Акимов брался подновить. Нет, возиться с этим она не собиралась, не нужно ей в нашу щель такой роскоши. Естественно, Акимов в блокаду собирал, что побогаче. Стол был, но из карельской березы, ножки с львиными мордами. Сам он предлагал нам что получше и все повторял, что это задаром. Сказал на ухо, что он не для «льготов», он мне как фронтовик фронтовику, им тут доставалось не меньше. Тем временем Римма присмотрела кушетку, вышитую цветами, неожиданно Акимов отказался ее дать. Страдальчески покраснел, нет, не могу. Что так? Мялся, мялся, потом рассказал, как он пошел в феврале 41 года навестить сестру. Она в Лесном жила. Поднялся к ней, вошел в квартиру, все открыто было, они с мужем лежат на этой кушетке, обнявшись. Мертвые. Кто из них первый умер, кто второй, оба замерзшие, обнимают друг друга. Как это получилось, не понять. Разделить их Акимов не мог, так и похоронили вдвоем в одной могиле. Было это уже в конце марта, когда земля подтаяла. Так что кушетка для него как память. Замолчал, оборвав себя. Они выбрали себе другую, загрузили на тележку. Катили ее по ночным улицам. У Летнего сада остановил патруль. У меня с Акимовым были ночные пропуска, но их интересовало, чего это ночью возим мебель. Выручила Римма. Пояснила, что днем ее мужики заняты, еле допросилась ночью перевезти в новую комнату. Беда в том, как поднять все это на верхний этаж.

— Ребята, может, поможете?

Они замахали руками, нет, нет, им нельзя.

Пока Д. был на фронте, они более или менее совпадали с моим лейтенантом. Во всяком случае Д. узнавал себя. После демобилизации он быстро отделился. Первый месяц он пил, гулял в каких-то компаниях. Его затаскивали на вечерухи то мужики с электростанции, то бабы, торгаши, мелкие начальники, травил им фронтовые байки, хвалился, это было нормально. А как иначе, пить, гулять здоровье

позволяло, победа позволяла. Жена не позволяла? Да пошла она... Пошли вы все, имею право!

Наглый, самоуверенный солдафон. По мере того, как наши войска подходили к Берлину, он заносился все больше, как будто это его танковая колонна двигалась через Германию. Его вызвал директор Михаил Иванович. Кабинет директора был в конце коридора с красной ковровой дорожкой. Была секретарша, столик с пятью телефонами. Полчаса его протомили в приемной.

Директор предложил сесть и долго молча смотрел на него.

— Все гуляешь? Пора очухаться... Тебя для чего отозвали, выпивох нам и без тебя хватало... — и пошел драить.

\* \* \*

Довольно быстро я узнал, что мы, кабельщики послевоенного Ленинграда, весьма важное сословие. Подстанции были частично разрушены, кабели перебиты снарядами, бомбежками. В блокаду их, как могли, латали. Но эта прохудившаяся сеть то там, то тут рвалась. Мощностей не хватало. Оборудование за время блокады попортилось. На нас со всех сторон наседали — включите, дайте побольше мощности! Жизнь возвращалась и прежде всего требовала энергии. У нас в приемной с утра сидели просители. Они были требователи, а не просители. Они кричали, угрожали, доказывали. На нас ничего не действовало. Что нам были их угрозы, жалобы вышестоящим. Я объяснял начальникам, что закон Ома им не подчиняется. Никому не подчиняется — ни Москве, ни Центральному Комитету. И этого Ома невозможно вызвать на ковер. Будьте любезны проложить новый кабель, поставить новый трансформатор.

На самом деле кое-кому кое-что мы давали. Я давал госпиталям. Главный инженер выкраивал небольшие мощности школам для котельных. На Невском работали рестораны. Нас принимали там как самых важных персон. Если бы мы их не подключили, они не могли бы работать. Деньгами мы не брали. Деньги ничего не значили. Значила сёмга, ее можно было принести домой. Кусок копченой колбасы.

Швейная фабрика... Инструментальный завод... Институт истории... — извините, уважаемые, нет ни одного киловатта, никому,

ничего дать не можем.

Мольбы все же вынуждали нарушать все правила, перекидывать времянки, ставить оборудование уже негодное, просроченное. Мы чувствовали себя властелинами, благодателями этого измученного города.

### *Подписка*

...Подписка на заем проходила скандально. С мастерами разговор был короткий. С работягами — монтерами, особенно с женщинами — тут началось. Ни в какую. Плакали, ругались, выливали на нас все свои обиды — муж с фронта не вернулся, мать больна, дети больны, долги... Не ввали. Потому что только от безнадёги можно было пойти на такую работу — в любую погоду долбать ломami, кирками чертов асфальт, таскать тяжеленные муфты, костер разводить, чтобы греть кабельную массу, мать ее перемать. Вся черная работа доставалась бабам, мастера командовали, монтеры были наперечет. Пробовал я тянуть эту тележку, загруженную инструментами и прочим грузом, километр, а то и два, — рикша.

Вызывали их по одной в наш кабинет. Кроме нас с главным инженером Комовым, еще уговаривал парторг Поляков. Заходили в ватниках, косынках, резиновых сапогах. Грязные потеки слез полосовали их лица, плакали заранее, еще в монтерской. «Чтобы подписаться на месячный заработок? С наших доходов? Ни стыда, ни совести у вас, начальнички, ваши жены, небось, копейки не считают!»

Комова они не материли, он с ними всю блокаду пахал. Все доставалось мне, я еще сдуру специально нацепил ордена и медали по случаю этого адского дела.

— Ты вернулся — вот и подписывайся! Ишь разукрасился! — Ольга Лебедева не могла сдержаться, она разъярилась больше всех, орала: — Я уже все отдала — и отца, и мужа для Родины, так что не вам меня агитировать, у меня четверо иждивенцев, четверо! Ты, что ль, будешь их кормить? Чтоб я на ваш сраный заем подписалась? Пропади он пропадом! На нее не действовали ни посулы, ни обещания премий, она подступала ко мне вплотную:

— Подписка — дело добровольное, так? Что ж вы наседаете? А тебе лишь бы выслужиться. Не то что на месячную, на недельную не

подпишусь!

Она вошла в штопор, как выразился Поляков.

— Не устраивает — увольняйте! Мне терять нечего, имела я вас всех!

Крашенные стрептоцидом огненные волосы ее растрепались, прилипли ко лбу, она вскакивала перед нами, руки в боки, голову закинула.

— А ведь хороша! — вдруг вырвалось у Полякова.

И это естественное, мужское окончательно разъярило ее, похлопала себя между ног:

— Вот этим зарабатывать буду, вы меня, партийцы, толкаете.

— Да ладно тебе, — сказал я, — не хочешь, и не надо, не подписывайся.

Когда она вышла, Поляков сказал:

— Так нельзя, так мы всю подписку сорвем, она сейчас всех баб взбаламутит.

Он был прав. Мы оказались на последнем месте не то что по кабельной сети, а по всему «Ленэнерго», да и по району тоже — так нам объяснили в райкоме. Туда нас вызвали аж к первому секретарю. Мы испортили им показатели, проявили «гнилой либерализм».

— На этом мы проверяем каждого руководителя, коммунистов, — секретарь говорил безразлично-холодно, давая понять, что дело этим не кончится. — Вы нам сорвали важнейшую кампанию. Что это за работа?

Я сказал, что самое важное для нас — безаварийная работа. Поляков предупреждал меня, чтобы помалкивал и не спорил, пусть поставят на вид, даже закатят выговор. Выговор, сказал он, не туберкулез, райкому тоже надо отговориться перед городом. Он был прав, но я не вытерпел высокомерного тона, каким отчитывал нас секретарь.

— Вы знаете, сколько у нас солдатских вдов? — сказал я.

— Вот это твой вопрос, голубчик. Надо уметь людям внушать, на то тебя и поставили.

— Меня поставили не для этого, — сказал я.

Секретарь встал. Был он рослый, плечистый, на голову выше нас, глаза его светло-алюминиевые смотрели запоминающе.

— А идеологический промах — это, по-твоему, пустяк?

Он говорил и говорил, повторяя то, что было уже наговорено.

— А вы приезжайте к нам, научите, как внушить им.

— Хочешь, значит, подставить партийные органы? И ты, Поляков, на поводу идешь? Ясно.

Заклучил он непререкаемо:

— Чтобы цифра была выполнена. Хоть за ваш счет, как угодно.

За Лебедеву я подписался. Все равно недоставало до контрольной цифры. Пришлось и Комову выложиться, и Полякову.

А Лебедева ни спасибо не сказала, не смягчилась, смотрела с насмешкой, говорила:

— Ну и что, что фронтовик? Может, он и там бойцов своих не жалел, как нас не жалеет.

И на следующий год происходило то же самое, беспощадная принудиловка.

Кроме займа требовали еще соревноваться с другим районом, требовали выходить на демонстрации, вступать в какие-то общества, ходить на субботники.

В райком меня этот первый секретарь все-таки еще раз вызвал. Как бы в порядке примирения обратился с просьбой дать мощность комиссионному магазину. Я пояснил, что на этом участке свободной мощности нет. Что-то он мне доказывал, а я смотрел на камин в его кабинете. Роскошный камин с мраморными богинями, украшенный искусно кованой решеткой, весь кабинет с блеском темно-синего штофа на стенах, с орнаментом, подобранным к лепнине потолка, — все убранство этого роскошного помещения никак не соответствовало грубо-командному тону секретаря. Я думал о том, как странно, что люди в этом княжеском особняке не чувствуют, что вести себя здесь следовало бы по-другому, и еще о том, что победа не принесла нам снисхождения.

### *Другая жизнь*

Я вспомнил, как сразу после демобилизации они отправились на Невский проспект, просто погулять. Коней на Аничков мост еще не поставили, проспект был расчищен, выбоины от снарядов засыпаны песком, витрины освобождены от щитов, их помыли, проспект заблестел, люди шли, не торопясь, улыбаясь друг другу. Удивительная

толпа была на Невском: телогрейки, шинели, длинные пальто, бушлаты, макинтоши, многие шли с палочками, в шляпах, в пилотках, в косынках. Невский — это проспект для гуляния, и вот наконец, к нему возвращались его друзья.

Мы остановились у комиссионного магазина, он был открыт, мы зашли. Чего там только не было — гобелены, вазы, посуда, картины, барахло всех сортов, все, что уцелело от довоенной жизни и блокады. В глубине магазина располагался дамский отдел, висели платья, кофты, шубы. Здесь Римма затормозила и стала примерять «меховые изделия». Продавщица подавала ей беличью шубу, затем каракулевую, затем блестящее котиковое манто, видимо, приняла меня за кого-то из тех, кто ходил тогда с оттопыренными карманами.

Римма вертелась у трюмо и так и эдак, прохаживалась передо мной, изображала себя соответственно надетой шубе. Глаза ее сияли. Я любовался этим спектаклем, появлялась то светская дама, то кокетка, то скромница, никогда не думал, что в ней обитала целая компания разных особ. Покупать она не собиралась, да и не было у нас таких денег, ей захотелось понаслаждаться, видеть себя другой, постоять перед зеркалом, пошиковать хотя бы несколько минут. Я знал, что если бы даже мы купили что-нибудь подобное, она не стала бы носить, это было для другой жизни.

Когда мы зашли в кафе, я вдруг вспомнил, как мы были здесь перед войной. Как я угощал ее пирожными буше и кофе со сливками. Как это было весело, денег было в обрез, главное же, хотелось понравиться, как я старался.

Буше не было, были эклеры, похуже прежних. Я взял ее за руку, чтобы почувствовать, как возвращается ко мне желание просто сидеть и смотреть на ее лицо. Стоит посидеть с ней, и начинает открываться прелесть этого человека, прикосновение словно помогает ощутить то сокровенное, что таится в ней. Хочется, как прежде, молча сидеть рядом, держась за руки, и получать наслаждение и от этой близости, и от молчания.

...Я шел по Невскому мимо того самого комиссионного магазина. В витрине была выставлена большая картина. Мокрый дощатый перрон, летний вечер, темнеет, далеко уходят блестящие рельсы, лес по обе стороны железной дороги и красный огонек уходящего поезда. Перрон

опустел, стоит женщина в синей накидке. Провожала кого-то, осталась, смотрит вслед. Виден овал щеки, уголок глаза, тот полуоборот, по которому можно представить ее лицо. Подступает тишина, влажная печаль опустевшей маленькой станции, скорее полустанка. Сизые сумерки выползают из леса. Туман вскоре накроет даль с высоким огнем светофора.

Я долго стоял перед витриной, пораженный грустью картины. Что-то меня с ней связывало. Наверное, детство, проведенное на таком же полустанке. Ночью мне пришла в голову мысль — а что, если купить эту картину? Взять и купить. Никогда я не покупал картин. Цена у нее была выставлена по тем временам большая. Несколько дней я собирался духом, придумывая для жены объяснение этой внезапной траты; одолжил у одного приятеля, отправился в магазин. Картины не было. Продали накануне. Опоздал всего на день. И оттого, что упустил, остро ощутил утрату. Как будто украли мою собственность. С тех пор прошли десятки лет, я не могу забыть эту картину. Наверное, она вызывала бы всегда печаль, зачем нужна была мне эта печаль? Не знаю. Но почему-то думаю, что хорошо было бы иметь дома эту печаль. Тоска по этой картине помогает сохранить мне ее. Наш разъезд Кневицы теперь слился с этой картиной, и, вспоминая детство, я вижу эти удаляющиеся красные огоньки.

С ними уезжает и моя война, и мои окопы...

### ***Что говорила мне Римма***

«У меня впечатление, что мы еще не начали жить по-настоящему. То ждали, когда война кончится, то, когда обустроишься на работе, то, когда дадут жилье получше — все время все впереди, как морковка перед мордой осла. Настоящую жизнь откладываем. Но жизнь не отложишь. Можно жить ведь и в такой дыре, и при карточной системе. Нас втянули с тобой в чертову игру, нас лишили сегодняшнего дня, у нас нет — сейчас, все будет — завтра. Терпение, терпение... Почему я терпела твою гульбу, как ты думаешь? Я знала, что это не ты, это остатки фронта. Глупо спрашивать, за что я тебя полюбила, и любила все эти годы, страшные годы. На фронте у тебя были просветы, а у меня от страха за тебя просветов не было. И вот вернулся наконец,

можно, казалось бы, жить, нет, опять ты отложил, поскольку надо отметить, пьянка, с кем попало...

Ты дорвался не до меня, а до безнаказанности, до баб, ты меня употребляешь без различия от своих полковых блядей. Ну, конечно, ты уверен, что восстанавливаешь городское хозяйство, даешь людям свет, что ты благодетель, а сам мне говорил, что в первую очередь приходится выполнять указания обкома, горкома, а они кому дают? Ресторанам, комиссионкам, домам начальников — своей говенной номенклатуре. В первую очередь служишь блатникам. Вот ты рассказывал про подписку на заем у вас, как ты ее проводил, гнул своих работяг без жалости, и кого ты вынуждал, несчастных баб? Платить им гроши и еще заставляешь подписываться на заем. Ну ладно, ну не ты платишь, наша родимая власть копейки платит и бессовестно эксплуатирует...»

Все правильно, а я бы мог бы другое выложить, свою правду. Но зачем? У меня правда вчерашняя, у нее — сегодняшняя.

\* \* \*

На ней лежало хозяйство, ребенок, а еще и работа. Утром занести ребенка в ясли, затем на работу, на обратном пути закупить продукты и готовить. В институте они испытывали броню, улучшали ее, доводили, делали вязкой, упругой. Я в этом ничего не понимал, для меня броня была крепкой или слабой. Римма ездила в Колпино, готовила листы, на полигоны, где их испытывали, Ижорский завод, снова институт, а дома надо было еще постирать, прибрать, приготовить. Этих «надо» набиралось невпроворот. «Почтовые ящики», секретность, «совершенно секретно». Как-то она повезла меня на полигон. Разными снарядами там лупили по разной броне. Осколки. Пробой. Вот как оно выглядело снаружи, как били по башенной броне, по бортовой, под разными углами. Здесь наводили, не торопясь, и били. За такими листами сидели мы, танкисты. Советские, немецкие, один черт — люди. Римма командовала, они все работали с наушниками, а мы все были в поле оглохшие.

Я не хотел военных воспоминаний, я хотел забыть про войну. Она делала броню тогда, там, в Челябинске, и молилась за меня. Бога она называла Судьбой, а для меня Бог был броней. Молила судьбу

пощадить. Мольба была единственным ее средством. Она верила в любовь, как верят в Бога. Она не ходила в церковь, не клала поклонны. Она все надежды вкладывала в мольбу.

Как-то мы с Женей Левашовым рассуждали о том, в чем человек может ощущать Бога. Наверное, это творчество, когда поэт или художник сочиняет, рисует. А еще в природе. Но больше всего, мы в этом сошлись с ним, в любви. Материнство встречает Творца в своем ребенке. Любовь — самый доступный, короткий путь к Всевышнему.

\* \* \*

Не могу видеть ее плачущей. Мелкие слезы скатывались все быстрее, руки были заняты ребенком, она укачивала его и пыталась вытереть лицо плечами.

Обедал я где попало, ночевал тоже по-разному. Считал, что ребенок не дает мне выспаться. А то не хотел являться домой пьяным, такую приводил причину. Она мирилась с этим. Наверное, ждала, пока образумлюсь.

Плакала она беззвучно, по-детски отворачиваясь. Я вдруг увидел, какая она еще молодая. И какой я старый. Истрепанный. Провонял смертью. Пропитан ненавистью. Она считала, что прибыл принц, тот, кто долго мечтал о ней. На белом коне. Если б она знала, как война въелась, налипла, никакой баней не отмоешь. Да, я ее разочаровал. То есть она понимала, что Победа требует, все мужики ликовали. Да, судьба сохранила меня, но спрашивается, для чего? Мой директор был прав, как считала она, сколько можно, эти пьянки, гулянки. Я объяснял ей, что на фронте у меня был смысл жизни, при всех разочарованиях оставался смысл, была цель, цель поглощала все чувства. Без войны все оборвалось, да, есть счастье, что остался жив, короткое счастье, что кончается. И что дальше?

«А то, что мы наконец вместе, это ничто?» — спрашивала она, хлюпая красным носом. Словно впервые она разглядывала меня, словно обнаружив подделку. Она верила моим письмам.

С какой-то враждебностью она показывала мне чемодан взамен колыбели для ребенка, оборванные красные обои, закопченный потолок. «Что, не нравится?»

Сырое наше жилье, пропахшее пеленками, тяжелым воздухом дров, что сушились на плите, крысиный коридор.

«Не нравится?»

Любовь не бывает сплошной, она, как цепь островов, цветущих, опустелых, больших и малых потухших вулканов, рифов. Их любовь была не похожа ни на одну другую. Все в этом уверены. Но Д. знал, что такого взаимонаслаждения, какое они получали друг от друга, никто не испытывал, знал, будто изучил тысячелетнюю историю любовей. Он никак не мог поверить, что это исхудалое, замученное небесное создание могло полюбить его. С какой стати он удостоился ее внимания? Да кто он такой? Бабник, потаскун, почему она все прощает?

Временами на него накатывало, он взрывался признаниями в любви. Влюбленный во что бы то ни стало хочет сообщать о том, что переполняет его, Петрарка без конца пишет и пишет стихи о своей любви к Лауре. В «Песни Песней царя Соломона» каждый раз звучат все новые признания, новые находки: сладчайшие руки, губы горячие, медно-кислые, глаза глубокие, как на иконах, в Ней всегда свежесть и аромат. Любовь жаждет все новых подтверждений.

И Д. тоже делал свои открытия — мужчинам, когда она проходит со мной мимо них, становится грустно. И мне тоже, потому что я при ней.

Она была счастлива, что он уцелел. Ей по душе была моя безвестность, наше пребывание в тени жизни. Ее вполне устраивала моя работа начальником района. Конечно, она была бы рада иметь квартиру побольше, потолки чуть повыше. Она боялась несоответствия между ними, они начинали на равных. Он оправдал свои стремления, хотел чего-то еще, еще, она не очень понимала, зачем. Она разделяла его неудачи, огорчения. «Будешь по жёрдочке идти через поток — не дам упасть тебе», — так она повторяла себе всю войну, сохраняя его от гибели.

### *Должок*

Нежданно-негаданно Д. получил письмо от Климаса Васильчука. Письмо было из Борска. Город или поселок, неизвестный Д. Климас сообщал, что он был ранен, ослеп, его «подчистую» демобилизовали,

дали инвалидность, и он уехал к своим, где и проживает, о чем сообщает своему бывшему ротному. Далее осторожно, с оговорками, упомянул про свои неприятности — его хотят упрятать в Дом инвалидов, по сути, приют для безнадёг. Он не просил о помощи. Как понял Д., повсюду он получал отказ и вряд ли Д. что-то сможет. А вот повидаться бы хотелось, рассказать про остальных ребят, писать неохота, да и тяжело писать, это письмо он писал по трафарету.

Д. подумал и отправился к директору кабельной сети просить отпуск на три дня. Михаил Иванович принял его холодно. Надвигается зимний максимум, никаких отлучек. И вообще хватит пить, гулять, праздновать Победу, пора по-настоящему приводить в порядок районную сеть. У Д. самая высокая аварийность... Да, его району в блокаду больше всего досталось, центр и бомбили и обстреливали, это известно. Бомбили все районы, но никто на войну уже не ссылается. Прокладывают новые кабели, ремонтируют подстанции. Вкалывают! Была надежда, что новый начальник, самый молодой, со всей энергией...

В это время появился главный инженер Устинов и, оценив обстановку, немедленно предъявил свой счет: план прокладки новых кабелей не выполнен, абоненты жалуются, прав Д. или не прав, никого не интересует. Хвост нам накручивают...

Главный инженер не считал возможным отпускать Д. хотя бы на несколько дней. Сейчас не время давать увольнительную, здесь не армия, где можно отпроситься, наша работа круглосуточная...

Но тут директор вдруг остановил его. У них свой закон, закон фронтового братства, он, конечно, не всеобщий, сугубо личный закон, но порядочные люди понимают и признают его. «А ты, — обратился он к Д. — езжай. Но учти: чуть что, поставлю мастером на линию, цацкаться не буду».

Так вот, оказывается, на каком он счету у них. Воевал человек или не воевал, здесь — без разницы. Выходит, он теперь, как другие, военные его заслуги уже никого не колышут.

Римма, выслушав его обиду, преспокойно присоединилась к директору. Она видела своего мужа примерно так же. С какой стати с ним должны нянчиться, если от него мало проку?

Она говорила холодно, ничего не смягчая, все эти месяцы она помалкивала, полагая, что, если они терпят, то и ей положено. Сколько

можно гарцевать, пить, гулять? Они имеют право выяснить, остался в нем инженер или он уже пустой номер.

Ни офицер, ни инженер, может, администратор, так они и этого не увидели. Может быть, ему хочется сперва обустроить свой быт, так и этого нет. Как вернулся в эту пустую комнату, так и живут. Обедают на подоконнике. Раскладушка. Окно не замазано.

У нее накопилось. Да, все оставалось — закопченный потолок, тяжелый воздух от пеленок, дров, что сушились на плите, картошка, что жарилась тут же.

Ребенок заплакал, Римма взяла дочку на руки, стала укачивать и сама заплакала. Дети чувствуют ссору. Римма плакала беззвучно, обе руки ее были заняты и она не могла вытереть слез, хлюпала носом. Д. не выносил ее слез, он видел ее плачущей дважды. Первый раз — когда он вернулся, вошел сюда в кожаной тужурке, пропахший московским пьяным поездом, и она бросилась к нему и зарыдала, и вот нынче. Разные слезы.

Он сидел, поплеывал на брусок, точил нож. Им резали хлеб, щипали лучину для растопки. Это была не бедность, а неустроенность. По-настоящему еще не было дома, они не начинали жить вместе. Он вдруг увидел, какая она молодая и какой он старый. Обида помещала ему помириться. Оправдываться он не стал. Он просто сказал: «Я поеду».

В поезде он продолжал рассматривать свое расположение в этой жизни. От молодости ничего не осталось. Все растрчено — его убивали, он убивал, он провонял смертью, все обрыдло. Она, бедняжка, все ищет того парня, что сорвался в ополчение, влюбленный в нее, в войну, в будущие свои подвиги.

*Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится хочет упасть...*

А он издержался от страхов, злости, отупел, ему кажется, что все главное с ним уже было.

От начальства он получил оплеуху. Отрезвило ли это его? Нисколько. Разозлило — да. Обидело — да. Не привыкать, гнутья не станет. Ему, конечно, везло, но везло не случайно. Как-то у него соединялось везение с его достоинствами. В глубине души он считал

себя умницей. Захотел бы, и освоил сетевое хозяйство района в два счета. Он еще ни разу не признал никого умнее, благороднее, словом, лучше себя.

Война сюда не дошла, городок сохранился с царских времен. Гостиный двор, сады, бульжник, древняя неприбранность. На вокзале Д. встретила жена Васильчука. Яркая брюнетка, фигура вызывающая, груди торчат. Всю дорогу, не умолкая, она жаловалась на местное начальство, на горисполком, на райком партии, на военкомат, на собес, на школу, где учительствовал ее муж, на гороно. Было удивительно, сколько в этом городке помещалось учреждений, организаций, начальников.

Клим Васильчук сидел на скамейке у дома. Не сразу Д. соединил его с улыбочивым, деликатным командиром взвода. Большие темные очки, палка. Кепка. Свитер. О том, что с ним случилось, о судьбе роты Клим не хотел рассказывать, отделался несколькими фразами. Лицо его при этом задергалось так, что он стиснул щеки руками. Как мог понять Д., часть машин пострадала от фаустпатронов, две машины застряли в болоте, и было еще столкновение с «тиграми».

Но все это было не главное, главное состояло в том, что его отправляли в приют. Куда-то. Для инвалидов войны. Он подозревал жену, это она хочет спровадить его, и ее родные. Он понимает их. Двухкомнатная квартирка, а их, по сути, три семьи. Ее родители, семья сестры и они двое. Да к тому же сестра беременна.

Не хотел Клим Васильчук в дом инвалидов. Ни за что. Лучше он пойдет по миру. Будет ходить из деревни в деревню, найдет еще какого-нибудь зрячего бедолагу...

И ведь пойдет. Д. знал его характер. Так вот, просьба состояла в том, может ли Д., его командир, сходить к местным начальникам, потребовать комнату для Васильчука. Для него одного. Ни с кем он жить не хочет. Приноровится, он сумеет.

Все его паузы Д. заполнял сам. Подобные истории в те годы случались повсюду, но это был Клим Васильчук. Тут шел совсем иной счет, у него были иные права на ротного. А у Д. никаких прав не было, потому что он покинул свою роту, своих ребят, и все, что там произошло, задевало его совесть. Несмотря на все отговорки: «Ты-то

жив, ты в порядке, в большом порядке». Что бы Д. ни приводил, но был «в порядке».

Опыт подсказывал Д., что хлопоты лучше начинать не с верхних этажей.

«Электроток», кажется, так он назывался, помещался напротив местного горсовета. Большая синяя вывеска. Что-то заставило Д. вместо горсовета зайти туда. С ним бывало такое: чья-то тихая подсказка. Зашел, постоял в зале, где у окошечка толпился народ, послушал, все было знакомо. И тут те же просьбы увеличить лимит, подключить, прислать мастеров. Пошел по коридору, дошел до дверей начальника, надпись «К. А. Оверкин». Что-то знакомое слышалось в этой фамилии. Постарался вспомнить, не мог, тогда вошел. Задумчиво, не видя, не обращая внимания на секретаршу, прямо в кабинет начальника. Остановился, разглядывая маленького человека за столом, в толстых очках, курчавого, в потрепанном суконном пиджачке, с голосом хрипло-крикливым. Четыре телефона, с которыми управлялся, не переставая говорить с двумя женщинами. Д. стоял еще несколько минут, ища в памяти, откуда он его знает. Откуда? И вдруг, прежде чем вспомнил, воскликнул:

— Костя!

И, вспомнил — это ж был институтский однокашник, на курс или на два старше, Костя Оверкин — знаменитый автор капустников.

Оверкин поднял голову и так же минуту или две смотрел на Д., а потом вскочил, бросился к нему и обнял.

— Боже мой, боже мой! — повторял он. — Живой!

Тотчас бесцеремонно выставил своих посетительниц, усадил Д. и не мог успокоиться, хлопал его по плечу, смеялся, расспрашивал, где работает, как, чего приехал, как он забрался в их глухомань.

— «Ленэнерго»? Родной ты мой! — запел он. — Наконец-то мы вместе.

Когда Д. добрался до своей просьбы, на маленьком столике возле письменного уже стояла бутылка с мутной жидкостью, царский напиток, созданный местными самогонщиками из сахара плюс какие-то таинственные продукты. Про комнату для Васильчука Оверкин выслушал сочувственно, прицокивая языком, и категорически отказал. Много, а этого нет. С жильем в городе полный захлоп.

Эвакуированные, кстати, из них человек триста блокадников, еще не уезжают, разрешения не получили, из голодных колхозов бегут и бегут сюда, в город, все дома переполнены, в комнатах по две-три семьи. Конечно, Васильчук — герой, инвалид, но и из них очередь выстроилась, инвалидов войны теперь всюду хватает.

— А он тебе кто?

— Да никто, командир взвода он в моей роте был.

— Ванька-взводный, да, это не велика птица, ему не светит. Ты-то чего так расстраиваешься?

— Жалко его... Должок есть за мной.

— Велик ли должок?

— Какой ни есть, а отдавать надо. Большого Оверкин добиться от него не мог.

Зачем-то пытался, а Д. уходил от ответа, тоже зачем-то. Договорились встретиться в Питере, но Оверкин все тянул, не отпускал, выставил еще бутылку своего напитка. Перепить ему Д. не удавалось, и Оверкин, вздохнув, приоткрылся: помощи не в службу, а в дружбу достать оборудование для подстанции. Тогда и проблему с Васильчуком легче решить, власти на это пойдут, у них свой интерес — маслозавод расширить, в наше время это большое добавление к власти. Голубая мечта.

— Обогащаться за счет инвалида хотят, — так понял Д. — Вот сукины дети. Героический тыл, приноровились, значит. За что воевали, за что изувечены, это уже не наше дело.

Если Д. хочет решить вопрос, то можно — даст трансформатор, помогут взводному. Нынче иначе не выйдет.

— Давай-давай, — подначивал Оверкин. — Я не такое слышу от вашего брата.

У Оверкина главная проблема заключалась в трансформаторе, его не достать ни за какие деньги, письма в министерство писали, в Госплан — обещают через годик-полтора. Тоска бумажной волокиты, отписок, обещаний, напоминаний.

Д. отбивался, шутка сказать — трансформатор, это нынче самый дефицит. Передать трансформатор! На каком таком основании? Подумают, не иначе как продал.

В Питере за трансформатор можно нынче — чего изволите! Но нельзя было переборщить, еще немного, махнет Оверкин рукой: «Ну нельзя, так нельзя» — и конец торговле. Насчет чего можно, чего нельзя, Оверкин вполне был в курсе, и не такое оформлял, и все было тип-топ, пусть ему не крутят это самое. Во время блокады подстанции стояли? Стояли. Трансформаторы отсырели? Отсырели. Бомбежка, обстрелы были? Стены треснули? Разве не списывают в утиль всю начинку? Так что не будем лепить горбатого, мы с тобой, как рыба с водой.

Стеная, Д. согласился, теперь вопрос — какой мощности трансформатор? Сто восемьдесят киловатт Оверкина не устраивало, ему нужно было хотя бы двести сорок. Двести сорок — это неподъемно. Не выкроить. Торговались. Ни тот, ни другой не уступали, тут бы им и разойтись, но Оверкин не отпускал. И Д. почувствовал, что может дожать, что зацепило Оверкина предложение. Да у него и

самого было безвыходно, уж очень хотелось помочь Васильчуку. Теперь, когда появился шанс, нельзя было упускать. Тогда он решил зайти с другой стороны, рассказать то, о чем никогда никому не рассказывал, сам старался не вспоминать. Казалось бы, позабыл, сумел позабыть, а не забыл. Вот она, та солнечная площадка во дворе ремонтно-восстановительного батальона, куда загнали их танки после первых двух недель с маршами, засадами, загнали всю его роту, так положено было, поскольку первые неосвоенные машины следовало проверить, и ходовую часть, и моторы, фрикционы, пушку, башенное хозяйство, где действительно что-то заедало. Проверяла-замеряла специальная на то присланная бригада, то ли заводская, то ли армейская. А его ребята сидели на солнышке, брились, мылись, загорали. И вдруг откуда ни возьмись нагрянул на машинах начальник со своей свитой. Генерал с полковниками. Что за генерал? Шут его знает. Примерно Д. представлял, что бронетанковый генерал, но то ли из армейского штаба, может, из фронтового, но не танкист, потому что с палкой, хромой, а может, и раненый. С генералами за всю войну Д. почти не встречался, а тут прямо выскочили они из машин, и сам в фуражке встал, осмотрел. Д. подал команду. Кто поближе танкисты, вскочили. Д., значит, подошел и, как положено, давай во весь голос рапортовать, но генерал, не дослушав, разразился матерщиной: такие-сякие, говноеды, загораете, хотите тут прятаться, трусы, ублюдки, мать вашу! Д., значит, ему про инструкцию, мол, согласно приказу, а генерал пошел в разнос и палкой раз ему по морде, раз, два. Д. отпрыгнул к ближнему танку, стал, ребята потом рассказывали ему — стоит бледный, что-то хочет сказать, но поперхнулся, или задохнулся, ничего сказать не может. И тут, откуда ни возьмись, Васильчук прыгнул на танк, очутился там в башне по пояс, заорал что было сил: «На колени!» Это он генералу. И пушку наводит, эту нашу махину длиннющую, прямо в морду генералу. Д. его не видел, спиной стоит, но ребята рассказывали, такой Васильчук был страшный, ясно было — пальнет. Полковники прыгнули в стороны кто куда, только генерал стоит, вцепился в палку, может, и хочет пасть на колени, но не может уже. А может, и не хочет, все-таки боевой генерал. Рассказы были самые противоречивые. У самого Д. все как в тумане дрожащем. Говорили, что со скулы у него кровь течет, а сам, не шевелясь, как по команде «Смирно!», стоит, словно в забытии, или, как сказал Морозов:

«Похоже было, что тебя это не касается». И тут этот самый Морозов выручил, своим басом гаркнул Васильчуку: «Отставить!».

Дальше было так. Генерал, значит, придя в себя, подошел к Д., протянул ему руку, говорит: «Ну ладно, погорячились и забыли». Д. на руку его ноль внимания и продолжает стоять окаменело. Васильчук куда-то в башню провалился, нет его. Тут полковники подбежали, заверещали, но Морозов им:

— Да вы что, ведь пушка-то не заряжена, согласно правилам, подойдите проверьте, не заряжена, — повторял он.

Но генерал уже шел к машине, за ним все остальные, а Морозов все кричал им вслед:

— Пушка-то не заряжена! Последствий, как ни странно, никаких не было, если не считать пластыря, наложенного Д. на скулу. И никто потом ни звука, молчок. Чуть поговорили и запили это дело без закуски. И забыли. Д. забыл. Все забыли. В армии, правда, потом бродило это в виде легенды, красиво разукрашенной, где как-то облагородили Д., извозили генерала, конечно, у него полные штаны и тому подобное. Такой, в общем, сюжет произошел.

Сейчас, спустя годы, Д. рассказывал об этом со смешком, но смешок был сдавленный. На скуле ничего не осталось, а вот в душе тогда что-то хрустнуло, и непоправимо.

Оверкин молча уставился в стол.

— Да... как после этого воевать. В кого стрелять.

Помолчали. Потом Оверкин:

— Говорят, Жуков лупил, не стеснялся.

— Так то Жуков, — устало сказал Д.

Зря он вытащил эту историю, запрятанную в самый дальний угол памяти. Никак не думал, что сохранился такой жгучий стыд. Стерпел. Ни слова не промолвил. Хорош. Боевой офицер.

В роте никто не обсуждал, словом не обмолвился о том, что было, ни в тот день, ни потом. Не было ничего.

Договорились по-честному. Никаких расписок. Оверкин признался, что готов и без трансформатора выхлопотать, но Д. не стал отступаться.

Жену Васильчука звали Оксана. Жгуче черная, это впечатление было от роскошных волос и ярко-черных блестящих глаз. Она была

откуда-то из Сибири, красавица-чалдонка, явно не здешних кровей. И разговаривала она, чуть растягивая слова, что тоже нравилось Д.

Она поджидала его у «Электротока». Обрадовалась, узнав результат, пошла провожать Д. на вокзал, сидела с ним в буфете до прихода поезда. Ей хотелось оправдаться перед Д. Она называла его «товарищ капитан».

Остаться она с мужем в любом случае не собирается. Он первый заявил ей об этом. Ему не нужна такая жертва. Они вместе обсуждали, как поступить. По секрету говоря, он хотел бы уйти в монастырь. Да, такое у него зрело желание. Но оставить ее среди своих родных в этой халупе, а их там понаехало из деревни семь человек, он не мог. Никто не знает про монастырь. Узнают — все сорвется. Да, она хочет освободиться. Жить со слепым, стать поводырем не согласна. И так она прождала его больше года. Пока он в госпиталях кантовался. Плюс пока воевал.

Что значить жить со слепым? Он не видит ее. Она сохраняла свою красоту для него, а он и не увидел... И не увидит никогда. Она еще может нравиться, в нее можно влюбиться. Будет семья, будут дети. Он ведь и детей своих не увидит. Если б он вернулся без руки, без ноги, она бы не оставила его.

Они оба по-хорошему все обсудили. Ему хочется, как он сказал, остаться наедине со своей душой, побыть с Богом. Когда он останется во мраке один, ничто не будет отвлекать его, никакая мирская суета. Господь дал ему возможность удалиться от суеты, избавиться от обид, зависти, злобы.

Д. слушал, любовался и думал, что эта чалдонка имеет право на такое, это не жестокость, не себялюбие, она спасает свою жизнь так же, как они спасали свою бегством, когда прятались в лесах, все это тоже подлости войны. Вдовы, калеки, сироты, сколько лет война еще будет мучить российскую жизнь.

Васильчук в полку отличался от других офицеров образованностью и, Д. не находил другого слова, — учтивостью. Качество ни к чему не пригодное в танковых частях, оно выделяло его, оно-то и помешало выдвинуть его командиром роты. Однако, когда Д. отозвали из армии, командир полка на его место двинул Васильчука. Чем-то он пришелся. О дальнейшем известно немного. Неудачно расставили машины — так Васильчук объяснял Оксане, это услышал от него и Д. Виноватым себя

считал Васильчук. Половину машин подбили, одна еще на подходе застряла в овраге. Потом, при отходе сгорела машина Васильчука, его еле вытащили. Д. не выяснял подробностей. Сгорел Морозов. Фролов скончался в госпитале.

При Д. такого бы не произошло. Так в роте думали... И никуда от этого не деться.

Д. представлял себе, как это могло быть. Примерно. Использовали их вместо самоходок. Не маневрируя...

Незаметно она перевела разговор на то, нельзя ли оговорить ее права на комнату, когда Клим уйдет в монастырь, так, чтобы никто не мог оспорить, а то ведь отберут.

Д. только головой покачал. Видно было, что сейчас это главная ее забота. Но как ее за это осуждать. Д. ничем не мог ей помочь. И тут он виноват.

Всю дорогу в поезде не покидало его чувство вины. Ни одно утешение не годилось. Может, он и впрямь не допустил бы, там, под Райсбургом. Чувство это вцепилось, наверное, ему никогда не отделаться от него.

### *Годовщина*

Районное начальство пригласило меня в ресторан на встречу с молодежью и блокадниками по случаю годовщины снятия блокады. Посадили рядом с одним генералом, тоже с Ленинградского фронта. Сидели за столом президиума в зале, такие столы ставят перпендикулярно к остальным столам и ставят на него немного другое угощение. Не только семгу, но еще и осетрину, чуть больше икры и коньяк одной звездочкой больше.

Генерал был из 189-й дивизии, наш сосед справа. Это был генерал-лейтенант, еще не отставной, еще седоусый красавец в мундире, увешанном орденами и медалями. Ордена стоящие, боевые. Я был при пустом пиджаке, нацепил только медаль «За оборону Ленинграда», но мы с генералом быстро разобрались и чокнулись как однополчане. Выступил генерал без микрофона, говорил командным зычным голосом. Я слушал его рассказ с интересом. Сражения с противником там следовали одно за другим. Попытки немцев взять город

наталкивались на стойкую оборону дивизии, ее полки отражали все атаки и сами не давали покоя врагу, нанося немцам большие потери. Генерал и наш батальон включил в свой рассказ. Рассказ его получился для меня о совершенно незнакомой войне, где наш батальон действовал в той же самой местности, в те же месяцы. Там должен бы быть и я, но меня там не было.

Генералу горячо аплодировали и мне тоже, и, смотрели на меня признательно-благодарно.

— Ну как? — спросил меня генерал.

— Замечательно, — сказал я, — хорошо сочинили и хорошо исполнили.

Он подтвердил, что его рассказ всегда имеет успех, в других городах еще больше, и поднимает престиж нашего города. Но тут до него дошло, мое слово насчет сочинения. Он спросил, что я имел в виду.

— Так ведь не было никаких сражений на нашем участке, да еще ожесточенных.

— А Невский пятачок? — спросил генерал.

— Но это же на другом участке, да и там были сплошные неудачи.

Его дружелюбие стало исчезать. Не мне было делать ему замечание. Кто я такой? Капитан, средний комсостав.

— Ты пойми, голубчик, старые оценки тут не годятся, мы отвлекали войска противника, это и есть выигрыш. А выигрыш это победа.

Он был предельно снисходителен, любезный генерал. А то, что на «ты» и «голубчик», это так у них положено, даже ни один полковник на «вы» ко мне не обращался.

— Хорошо, что вы не мой генерал.

— А то что бы было?

— Поставили бы по команде смирно и шагом марш.

— Генералов не выбирают, я вижу, не любишь ты их.

— Эх, точно.

— За что так?

Тут я ему процитировал: «Города сдают солдаты, генералы их берут».

— Ловко. Это кто сказал?

— Это Тёркин... То есть Твардовский.

— Поэт?.. Обидно... Зря ему позволили.

Мы тихо переговаривались пока выступал кто-то из блокадников. Потом из зала раздался голос: «Разрешите вопрос, товарищ генерал»? Спрашивала девушка в джинсовом костюме, совсем молоденькая, ее интересовало, почему, если так успешно мы воевали, в течение девятисот дней не могли прорвать блокаду. Она спрашивала без иронии, но зал насторожился и уставился на нас.

Генерал объяснил, что наши действия сковывали противника и наносили ему большие потери.

Все испортил снисходительный тон генерала, девушка покачала головой и обратилась ко мне, согласен ли я с этим.

Симпатичное ее курносое лицо заставило меня сказать, что я думаю несколько иначе. Мне не хотелось пускаться в полемику с генералом, хотелось как-то быть заодно, но не получилось. Я сказал, что, к сожалению, наши генералы и маршалы действовали плохо. И Кулик, и Мерецков не могли прорвать кольцо блокады, а изнутри мы тоже уперлись в этот Пятачок, ни одной талантливой операции не было, все в лоб, в лоб, повторяли тупо, несмотря на потери.

После торжественной части генерал отвел меня в сторону, сказал — не мне судить о действиях командующих. Что мне известно, если я просидел в окопах, в землянках? С таким кругозором рассуждать можно лишь о своих солдатах. Солдатская жизнь — это далеко не все, с таким предубеждением по отношению к генералам получается искаженная картина. Я согласно кивал.

— Что вы знаете о нашей работе?

Откуда мне было знать, если я за всю войну видел генералов два раза, и вспоминать о них не хочется. А что генералы могли знать о том, как мы спим, не раздеваясь по три недели? Ни бани, ни вошебойки. Они ни разу к нам в землянку не заглядывали. Не жрали у себя в штабах кашу с осколками и шрапнелью, не знали зимы, когда не согреться и не подтереться. В своих грёбаных штабах понятия не имели, как мы хороним друг друга, сбрасывая в траншеи, в мелкие, копать глубже сил не было, а по весне в воду...

Я не подозревал, сколько во мне скопилось злобы ко всем этим золотым погонам, откормленным, упрятым в джипы, в машины, ко всей этой непотопляемой шелупени.

Почему они так относились к нам, да и относятся до сих пор? Потому что этого добра им всегда хватает. Завтра сибиряков пришлют, уральцев, казахов. Экономить надо не людей, а боеприпасы.

### ***Прикосновение***

Никогда она не расспрашивала про то, как я воевал. Не спрашивала, убивал ли я, скольких убил, как это было. Тема войны не была табу, просто она не хотела возвращаться туда. Тот Д. не прочь был бы рассказать о своих подвигах. В общем и целом он был доволен своим военным прошлым. Правда, почему-то не было случая, чтобы он нацепил на себя все свои железяки. Надевал медаль за оборону Ленинграда. Еще любил гвардейский значок, но другие так и оставались в железной коробке. Однажды в Военторге заказал себе орденскую планку. Полностью. Выяснилось, что у него не получены какие-то планки за Прибалтику, еще что-то. Берите, сказали ему, мы не требуем документов. Длинные колодки во всю грудь, многоцветные, выглядели красиво, но доверия не вызывали. «За взятие Праги», «...Варшавы», «...Будапешта», «...Таллина» и других. Для одного солдата непосильный набор. И один город взять и уцелеть — счастье. Так что фронтовики вскоре моду носить ордена прикончили. Тем более, что и власти этому способствовали.

Римму интересовали все обстоятельства моей жизни, кроме войны. Почему? Могу лишь догадываться. Довольно рано ее отвратила грязь войны. Горелые машины с обугленными следами экипажа, то, что не отскоблить, привозили на завод. Постоянные приписки и на заводе, и на фронте. Прибывали фронтовики из разных армий, повсюду одно и то же. На передовой убитых не считали, рыдали в тылу. Повсюду вдовы, похоронки, костыли, протезы. Восьмого марта на собрании женщин ее попросили выступить. Она уже два месяца не получала от меня ни одного письма. Она сказала, что солдат не лучшее звание для мужчины. Куда выше, нужнее быть мужем, сыном, отцом. За это ее вызвали в спецотдел, стали вправлять мозги. Орали, грозили...

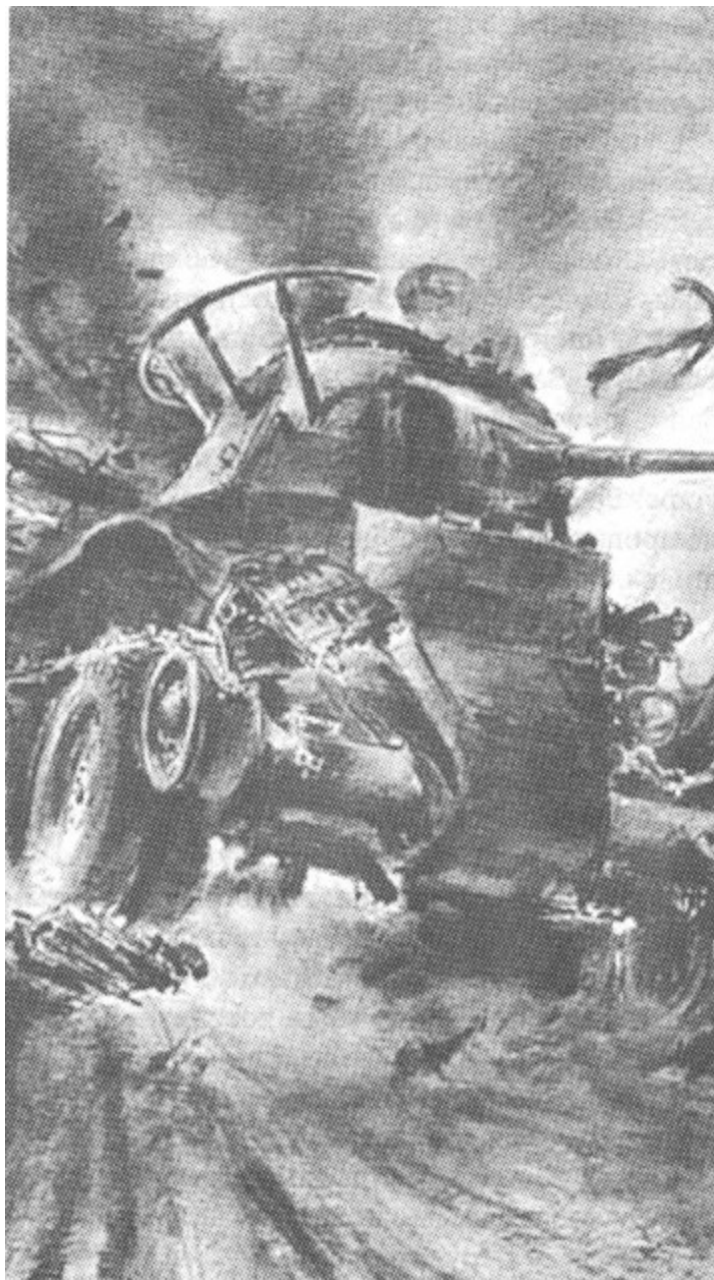
Инвалиды не рассказывали о своих увечьях. Не знаю, почему, может, потому, что их ранения не были в почете, то ли потому, что инвалидов войны было слишком много. В магазины стояли очереди.

Инвалидам полагалось проходить без очереди. И они шли. Покупали себе, покупали другим, этим подрабатывали. Что получали инвалиды от власти? Скудную пенсию и все. И обязанность каждый год являться на комиссию, показывать, что отрезанная рука не выросла.

Римме за ее высказывания попадало, это ее не останавливало. Вообще она вела себя слишком независимо для того времени. Ее радовало, что Д. вернулся живой, что ее брат тоже уцелел, стал генералом. Величие Победы ее не восхищало. Д. не вдавался в причины, его обижало, что любимый человек не расспрашивает его, как он воевал. Героическая эпопея ленинградской блокады, первое танковое сражение, разведка, окружение, он испытал много...

Стоило ему начать что-то рассказывать, она боялась, что он разбудит ребенка, или принималась за растопку, уходила стирать. Все это было важнее, нельзя отложить.

Обида его росла. Наверняка и она была обижена. Просто он не представлял, что у нее копятсь претензии. Ребенок для него был помехой, он отвлекал ее от совместной жизни. Мешал вместе ходить в гости, куда-то поехать. Она не чувствовала в нем отца. Он не понимал, что это крохотное тельце — чудо.



Отмечали День снятия блокады. Д. пригласили на торжественное заседание. Предупредили, что будет сидеть в президиуме. Вычистили костюм, Римма отпарила складку на брюках, нацепила ордена, медали. Получилось много. Слишком. Д. настоял убрать всякие цацки, оставить ордена и «За оборону Ленинграда». Пришел заранее, его провели в комнату президиума. Там, как водится, стол накрыт, бутерброды, чай, кофе. Его отозвал в сторону секретарь обкома по

пропаганде. Неодобрительно оглядел, поморщился, посоветовал снять эти железки.

— Чего так? — удивился Д.

— Видишь ли, у шефа ничего такого нет, пустой пиджак, так что и нам не советовали.

Д. выругался:

— Пошли вы все... Снимать не стал, сел в зале.

Нашему лейтенанту Римма досталась чистым существом. Он не мог тогда оценить всей прелести ее девичьей робости, стыдливости. Мог бы, да не оценил, слепой был, котенок новорожденный.

Прикосновения, поцелуи, объятия доставляли ей радость, свежую, как открытие. Не сразу она осмелилась сама прижиматься, расстегнуть ему рубашку. Самые простые любовные игры осваивались с трудом.

Кажется, то была третья годовщина смерти Сталина, отмечали ее как-то смущенно, робко. Вот тогда у меня состоялся интересный разговор с моим лейтенантом. Я говорил ему:

— Помнишь, как мы пошли в тот день, узнав о смерти Сталина, на Дворцовую площадь ? Никто нас туда не звал, но отовсюду люди сходились к этой площади, тысячи людей заполнили ее, тогда она называлась площадь Урицкого, кто такой был Урицкий, сейчас почти никто не знает. Там я встретил двух сотрудниц из лаборатории Ленэнерго, они бросились ко мне, рыдая.

— Что же с нами будет, что теперь будет, — повторяли они, заливаясь слезами, — мы осиротели, мы погибнем.

Третьего дня я встретил одну из них и говорю ей:

— Помните тот день на площади, когда вы так рыдали ?

— Да бросьте вы, — сказала она, — никто не рыдал, просто мы сошлись, потому что были взволнованы предстоящими событиями.

Она ни за что не хотела сознаваться в тех слезах, но ведь они были. О чем она плакала? О чем плакали мы с тобой? Какими все-таки мы были продуктами культа.

Лейтенант не соглашался со мной, он был убежден, что слезы эти были оправданы, что мы оплакивали конец эпохи, великой эпохи с великой мечтой, более того, он верил, что мы еще будем скучать по той стране, которая кончилась. Он был уверен, что со смертью Сталина кончается время, овечье мечтой, еще не слыханной в истории

человечества. Он упомянул Парижскую коммуну. Но кто помнит про Парижскую коммуну, так же как никто не помнит, кто был Урицкий, кто был Володарский, именем которого был назван Литейный проспект. И правильно делают, что не помнят. Эти женщины не хотят вспоминать про свои слезы и тоже правильно делают.

— Ты хочешь сказать, что Россия непрочная страна, что у нее нет постоянной любви? А я думаю, что мы будем скучать по этой стране, мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было героическим и красивым. Вы спустили флаг, где был серп и молот, и звезда, и что вы подняли — царского орла, мутанта, присвоили советский гимн, не поете больше «Интернационал».

— Подожди, — сказал я, — позволь тебе напомнить про партию, в которую ты вступал с таким святым чувством, как в песне: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». И где твоя партия? В ней было двадцать три миллиона членов, огромная цифра, и вдруг она исчезла, тихо, бесславно, вся партия отломилась, как сухая ненужная ветка, никто даже в далекой провинции не поднялся на ее защиту, не было ни баррикад, ни митингов, где она?

— Да, мне стыдно — признал мой лейтенант, — стыдно, что так легко мы отказались от той цели, которую ставили себе наши отцы, деды, жертвовали своей свободой, никто не знает, как это случилось.

— Значит, это была ошибка, — сказал я.

— Нет, я знаю, что никогда не соглашусь. Скорее, ошибка — это то, что вы имеете сейчас.

На его стороне была непоколебимая убежденность, и я вспомнил стихи Сережи Наровчатова:

*Не будет ничего тошнее, —  
Живи еще хоть сотню лет,  
Чем эта мокрая траншея,  
Чем этот серенький рассвет.*

*Стою в намокшей плащ-палатке,  
Надвинув каску на глаза,  
Ругая всласть и без оглядки  
Все то, что можно и нельзя.*

*...А лишь окончится война,  
Тогда-то главное случится!..*

*И мне, мальчишке, невдомек,  
Что ничего не приключится,  
Чего б я лучше делать смог.*

*Что ни главнее ни важнее  
Я не увижу сотню лет,  
Чем эта мокрая траншея,  
Чем этот серенький рассвет.*

\* \* \*

Он открыл глаза, осмотрелся. Он лежал на полу, в одних трусах, на одеяле. Рядом какая-то тетка. Голая. Она спала, посапывая. За окном вовсю пылало солнце, блестели трубы домов. Небо, еще младенчески розовое, обещало жаркий день. Комната была незнакомая. Стол. Бутылки. Водочные. Пивные. Воздух спертый, табачно-кислая-потная смесь. Еще какая-то пара похрапывала на диване. Окурки, шелуха, чулки. Его пиджак валялся под стулом. Рубашки он не нашел. Оделся. Пиджак на голое тело. Ничего не помнил, не помнил этих баб. Мутило. Поискал, в бутылках было пусто. Ни капли. Хотя бы водой сполоснуть горечь во рту. Там была тошнотная мерзость.

Он вышел на улицу. Бульвар был полон трепещущей листвы, цвела сирень, верещали на разные голоса какие-то птицы. Роскошная зелень молодого лета заполняла утро. Он присел на скамейку, еще мокрую от росы. Никого. Нигде. Он вспомнил то утро в Пушкине и как они уходили. Увидел себя, лейтенанта.

— Мать родная, неужели это ты? — лейтенант оглядел его, жалостливо покачал головой. — Что с тобой случилось?

Все началось с того, что пропал Михаил Иванович. Об этом говорили вполголоса. Потом стало известно, что его взяли по «Ленинградскому делу», а потом сказали, что его забили. Не расстреляли, а именно забили. Д. узнал это от энергетика Большого дома. На допросе Мих схватился со следователем, и они там его... Вот плановик Гвоздев устроил поминки. Пили много, тупо. Гвоздев

вспоминал, как в блокаду через Ладогу прокладывали высоковольтный кабель. Миха организовал, он под огнем оставался на катере. На фронте, объяснял Д. своему лейтенанту, как нам с тобой было хорошо, там враги, здесь свои, все ясно, никаких сомнений, известно, куда стрелять. У врага своя форма, у наших - другая.

Солнце стало пригревать. Появились прохожие. Хотелось пить. Он чувствовал себя грязным, разбитым. «За что его?» — это он то и дело возвращался к Миху. «А что я могу? Что?» — огрызался он лейтенанту. — Поручиться за него? Написать Сталину? Написать Берии? — Дурак ты, парень, ничего ты не понимаешь».

Оказалось, что это воскресенье. Римма ни о чем не спрашивала. Раздела его и стала мыть в корыте. Терла голову. Мыло хозяйственное. Щипало глаза. Сполоснула прохладной водой. Вытерла пол. Заварила чай. Дала чистую рубашку. Все это молча, быстро, как делали санитары в госпитале.

— Победитель... И что толку? — сказал он.

Она ничего не говорила, она была заодно с лейтенантом, они все были против него. Он слышал, о чем они молчали, они презирали его. Этот лейтенант мальчишка, что он понимал в нынешней жизни? Сам Д. ничего не понимал, никто не понимал. Не смели спрашивать. Удивляться не смели. Делали вид, что все путем, что там, в Кремле, виднее, что дыма без огня не бывает. Отводили глаза. Паскуды. Да ты ничем не лучше их, такая же тварь.

Этот лейтенантик удержу не знал. Римма отмалчивалась, зато он позволял себе...

Он вдруг увидел, как она устала, как загубели ли ее руки. Стирка, сообразил он, все время надо стирать... И мыть посуду... И мыть пол...

Она подошла, прижала его голову к себе.

— Ты только не думай, что ты меня лишаешь. Вспомни, как нам было замечательно перед войной в той комнате. Нам будет еще лучше, если ты вернешься...

Он догадался, но захотел услышать.

— Откуда?

— С войны, из танка.

— Терпеть не могу танков. Война всегда была войной солдат, а не машин...

Они разговорились совсем как прежде. По-настоящему они еще не жили вместе. Почти год он никак не мог уgomониться. Она не торопила, не упрекала. На работе у него была раскладушка, иногда он являлся туда переночевать. Валился без задних ног и спал сладко, как в землянке. Безбытность не мешала. Завтракал с дежурными диспетчерами, с водителями аварийки. Если б Римма устраивала скандалы, он бы совсем отбился от дома. Она ждала. Так опытный врач ждет, чтобы организм взял свое. Опытной она не была, ей помогал инстинкт. Инстинкт необъяснимый, кошачий, тот, что позволяет не заблудиться, найти дорогу к дому.

Когда-то в Эрмитаже она выбрала себе лучшей картину «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Объяснить, что на нее так подействовало, она не могла, да и не хотела.

Но все же он должен был знать, как ей было плохо. Несколько раз она решала уйти. Списались с братом в Москве, у него была казенная дача, договорились, что она поселится вместе с дочкой там. Работу он ей подыщет.

Плохой муж, плохой отец, плохой хозяин, он так и ничего не сделал по дому, только дрова наколет, принесет — и все. Никогда с ребенком не посидит, из-за него дочку приходилось держать в круглосуточных яслях. Его мастера привезли ему в подарок мешок картошки, он даже не взглянул.

Упрекала, ругала все про себя, ждала, может, опомнится...

Но вот прижала его голову к себе, он обхватил ее руками, сам прижался, и все кончилось. Зачем ей было все остальное, когда есть это, гори оно огнем, если они вместе.

Вечером они сидели ужинали, Д. смотрел на нее, она хорошела на глазах, разрумянилась, заблестели волосы.

### *«Ленинградское дело»*

Директора заводов, институтов исчезали один за другим. Секретари райкомов. Председатели райсоветов. Военкомы. Был — и не стало. Ни строчки в печати, никаких сведений, человека растворяли, как будто его никогда и не существовало. Даже как «враг народа» он переставал быть. Управляющий всего «Ленэнерго» Борис Страупе, во время блокады личность легендарная, вдруг исчез начисто. Круги

сомкнулись над ним, поверхность стала гладкой, никаких следов не найти. Обвинений никому не предъявляли. Разве что за связь с руководством города. Или знакомство. И это было неважно. Сменяли всю ленинградскую «группу». Изъять! Примерно так, как это сделали после убийства Кирова. Но тогда была хоть какая-то оппозиция. А тут вообще ничего, беспричинные аресты. Не могла же причиной быть блокада. Между прочим, брали именно тех, кто работал в блокадном городе. Вместо почета блокада стала подозрением. Паника охватила город. Боялись, не зная, чего бояться, виноваты, а в чем, мать вашу... В Доме офицеров устроили суд над руководителями города. Дом офицеров относился к Восточному району. Д. обязан был обеспечить «особый режим» электропитания. В зал заседания его не пустили. Повсюду его сопровождали двое безмолвных верзил. Молча придерживали — когда он шел не туда. Он столкнулся с подсудимыми, когда их вели в зал. Их, видно, приодели, припудрили, но все равно шли мертвецы. Впереди шел Кузнецов. В блокаду он был секретарем Ленинградского горкома. Где-то под Новый 1942 год он приехал к ним в часть. Привез подарки, досталось по яблоку, бутылке пива, шоколадке, еще чего-то жевательного. Был он в коричневом блестящей кожи пальто с каракулевым воротником, без шапки, крепкий, румяный, веселый, как положено, с набором шуток. Но тогда он понравился. Выдал солдатский анекдот, у кого как стоит. Сейчас это был кусок мяса, отбивная, может, и не Кузнецов.

Зря их напудрили, лица стали гипсово-белыми, будто посмертные маски. Главный энергетик Большого Дома пригласил Д. после перерыва посетить суд, пропуск он достанет. Д. отказался. «Может, им дадут последнее слово, — сказал энергетик, — напрасно ты, это же исторический момент, решается судьба Отечества». Но Д. надоела вечно не решенная судьба Отечества.

Говорили, что заседание транслировали для Сталина.

Д. отказался, он сказал, что не может покинуть щитовую, особый режим не допускает.

С него хватило того расстрела, когда они с Женей Левашовым...

В тот же день все было покончено, их сразу отвезли рядом, в Большой дом, там расстреляли.

Главный энергетик Большого дома (у Д. всюду были энергетические связи) потом рассказал Д., что их расстреливали

голыми. Зачем голыми? Он пояснил, что голый человек ведет себя более покорно, без эксцессов, это установили нацисты, работая с газовыми камерами. Это сравнение поразило Д.

— Чего переживаешь, — сказала Римма. — Все они из одной стаи.

— Как ты можешь?

— Очень просто. В блокаду жрали в три горла. «Ромовые бабы» им готовили, «венские» пирожные. Твой Кузнецов, когда его в Москву перевели, стал расстрельные списки подписывать. Почему они не удерживаются, не могут, чтоб не скурвиться?

И сама ответила — там, наверху, эта публика через два-три года перерождается. Все свои принципы, обещания, все выбрасывает, нести не под силу, надо бороться за власть.

Когда Сталин умер, плакал не я — мой лейтенант. Он стоял у репродуктора на кухне, слезы катились сами по себе. Не знаю, плакали ли наполеоновские солдаты, узнав о смерти своего императора. Думаю, многие плакали. Так же плакали и сталинские солдаты, и мой лейтенант в их числе.

Сталин был жесток, неоправданно жесток в войну, совершал ошибку за ошибкой, перекладывал свою вину на других и этих, других, казнил. Но мы победили.

Сколько было неудач, ошибок, поражений. Всю войну он был с нами, хотя ни разу за четыре года не осмелился выехать на фронт, трусил. Но мы победили.

Он не жалел солдат, и его генералы тоже не жалели, и тратили людей без счета. Никто не знает, во что обошлась нам война. Мы утаивали свои чудовищные потери. Деревни обезлюдели, страна наполнилась вдовами, инвалидами, беспризорными детьми, но мы победили.

Так твердил мой лейтенант в своих горестных рассуждениях. Я разделял его горе и не упрекал. Римма не горевала об этой смерти, однако я заметил, что моему лейтенанту она сочувствовала.

Она напомнила мне, как я вырвался в ополчение, как я искал оправдание нашему отступлению, переживал бегство, но веры не терял.

— Ты тогда верил, а во что? — допытывалась она, — в справедливость? Нет, это позже. А вот тогда? Сталин ведь состоял в

твоей вере.

Она раздобыла мою военную фотографию. На ней я был еще лейтенант, в меховой безрукавке, блокадный заморыш, в фуражке, не в пилотке, глаза косят. Наверное, выпивший. Фотография сорок второго года, январь, самая голодуха. Я стал припоминать. Нас заставили фотографироваться на партбилеты. Нас было не то пять, не то три человека. Фотографироваться погнали в Благодатный, в штаб армии. Фотограф не захотел тащиться на передок, сказал: «Боюсь за фотоаппарат». За нас не боялся, гаденьш. Тащиться надо было километра два, дорогу замело, по глубокому снегу туда мне было ладно топтать в валенках. Пока мы в штабе вожжались, потеплело, снег подтаял, валенки быстро промокли, зачавкали ледяной водой.

Крохотную фотокарточку Римма отлепила от старого партбилета, отдала увеличить, вставила в рамку, повесила на стенку, и он долго висел, мой лейтенант.

Он ей чем дальше, тем больше нравился. Она говорила, что он цельный, что порча времени не коснулась его. Он оставался идейным, не то что мы.

Тогда, насколько помнится, этот лейтенант, получив партбилет, был доволен, что погибнет коммунистом.

Погибнуть коммунистом — это запросто, но наш комиссар Елизаров сказал, что в штабе нас покормят.

Хрена вам! «Не положено, вам должны были дать сухим пайком». Суки, так и накрылся наш ужин. Эта фотография нам дорого обошлась.

Чего другое, а вот такую ерунду запомнил. Насчет жратвы не простили. От этой голодухи некуда было деться. Римма про ужин знать не знала, она, глядя на портрет, любовалась моим лейтенантом, наверное, ей так же нравились свои молодые фотки. Шибко романтичный юноша, форменный Павка Корчагин, или Гаврош, или Рахметов, кто там еще...

Судьба этой фотографии странна. Висела-висела, потом мы получили другое жилье — две комнаты в коммуналке, потом отдельную квартиру. И однажды, в очередной юбилей Победы, хватились, куда-то подевалась та фотография, на каком-то переезде забыли ее, ничего не забыли, а ее забыли.

В юбилей Победы у меня взяли интервью. Журналистка попросила мои военные фотографии. Вот тогда я вспомнил — ни одной блокадной моей фотографии не осталось, ничего от первого года войны. Журналистка, ее звали Татьяна, удивилась — как же так, неужели не было у вас чувства Истории. Про чувство не знаю, но когда отступали, драпали, было не до съемок. В блокадном сидении в окопах тоже не снимались, почему — не знаю, может, потому что не надеялись выжить, то ли потому что не было фотоаппаратов, журналисты до нас не добирались, они застревали где-то на полковом КП.

В прежние юбилеи Победы про отступление не спрашивали, не интересовались, блокадные дела не были модными, журналистам надо было про наступление, про разгром немцев. Эта журналистка была уже другая, новенькая. В кожаных брючках, кожаном пиджачке с металлическими бляшками, на немыслимо высоких каблуках, мальчишеская стрижка, лицо разрисовано ярко — вся фирменная. Вопросы ее были наивны, может быть, так казалось потому, что я давно не давал никаких интервью. Она спросила, почему Ленинград не объявили открытым городом, как Париж? Спасли бы людей от голодной смерти. Объяснять было скучно. Спросила, почему не добывали пропитание охотой, какую литературу читали в землянках? А то еще — «Где брали чернила писать письма?»

С годами вопросы становились все наивнее. Я уже не раздражался, я видел, как время унесло меня от этого поколения. Она попросила меня давать интервью в пиджаке с орденами и медалями. Для фотографии. Пиджака у меня такого не было. Она не поверила. У других фронтовиков она видела такие пиджаки. Тяжелые. Для праздников. Раза три в год.

Меня покорила ее усмешка. Что осталось у фронтовиков, кроме этих пиджаков? Ничего не осталось. Не стоило посмеиваться над этим.

Некоторые вопросы показались интересными, я считаю, что хороший журналист тот, кто ставит собеседника в тупик, кто спрашивает о том, о чем никто не спрашивал. Она вдруг стала задавать такие вопросы. Она меня спросила — пошел бы я теперь в ополчение, будь молодым?

Я ответил не сразу, она внимательно следила за моим лицом. Я медлил, выясняя себя — пошел бы? Нет, не пошел бы. Можно было

вставить слово — **пожалуй**, не пошел бы. Но я не вставил. Я ждал, что она спросит — почему не пошел бы. Она не спросила. Наверное, она поняла, но, может, не хотела этого записывать. В некоторых случаях лучше оставлять пробелы. Пусть читатель додумает. Еще спросила — жалею ли я, что пошел? Тоже мне было интересно. Ведь я потерял четыре года, а что взамен? Взамен получил оправдание своей жизни. Есть оно или нет? Все же есть, разумеется, есть, настаивал мой лейтенант.

— Отчасти.

— Далеко не всегда?

— Со временем обид все больше...

Поспросав про мою войну, про все четыре года, она сказала:

— Вам, конечно, крупно повезло, но вот что интересно — стали вы от этого смелее или нет?

— Что вы имеете в виду?

Тогда она спросила то, над чем я и сам раздумывал — что есть смелость на войне и что есть смелость на гражданке. Это разные состояния души. Война требует одной смелости, а гражданская жизнь — другой.

Да, это был. хороший вопрос.

Я вспомнил историю с Риммой. История эта произошла, когда Римма решила выйти из партии. Она вступала в войну в Челябинске на заводе. Из партии решила выйти неожиданно. Для меня. Думаю, и для себя. Это оказалось не так-то просто. Она выдержала немало неприятностей, однако решения своего не изменила.

Невозможно было объяснить Татьяне суть той истории. Ей было непонятно — как это нельзя выйти из партии. Ей надо было объяснять простые слова — что значит «компромат», «персональное дело», «политическая неблагонадежность». Мой словарь был архаичен. Почему, если исключают из партии, то человек превращается в отверженного? А этим пригрозили Римме. Она закусила удила, надо было знать ее характер.

Тане захотелось с ней познакомиться.

Вытащить ее из кухни было непросто. Появилась она в переднике, пропахшая жареным, в косынке, сердитая. Таня хорошо изобразила приветливость. Римма начала отвечать нетерпеливо: ушла из партии, потому что надоело вранье...

— Какое вранье?..

— Будто вы не знаете...

Врали им в школе про капитализм, врали в институте про историю партии. Она росла среди постоянной лжи. Никто не объяснял, за что в войну выселяли балкарцев. Или калмыков.

— Она пистолетно наставила палец на Таню:

— С чеченцами что сделали? И так из года в год. Затравили Твардовского, убили Михоэлса. Когда врут, еще можно догадаться. А если умалчивают? Устроили Катынь и свалили на гитлеровцев.

Таня спокойно кивала, посматривая на красный огонек магнитофона, спросила, почему же она, несмотря на вранье, вступала в партию.

— Да потому, что дура была, верила обещаниям, Хрущеву поверила, а он замахнулся и скис. Какие они все скоропортящиеся.

— А потом что-то произошло?

— Вроде того.

— Что именно?

— Мне стало стыдно за «Ленинградское дело», за то, что все молчали.

— Что было дальше?

— Вызвали мужа.

— Как интересно. И что?

— Сказали ему — удержи!

— А он?

Римма посмотрела на меня. Я кивнул.

— Он сказал: «Вы ее довели до этого, я уже ничего не могу».

Она произнесла это с нескрываемым торжеством, но я уже невысоко оценил свою учтивую отповедь.

На самом деле все было проще и грубее. Мой школьный приятель работал в ЦК партии. Я побывал у него в Москве. Он знал Римму и отнесся к ее поступку спокойно. Позвонил кому-то, и этот кто-то посоветовал ленинградцам спустить дело на тормозах, лишний скандал Ленинграду ни к чему. После «Ленинградского дела» синдром страха в городе царил еще долгие годы.

Чем дальше, тем чаще жизнь подтверждала ее слова. Каждый новый вождь через два-три года терял уважение. И все его

сподвижники тоже скидывали свои красивые доспехи, начинали славить, лизать задницу Генсека, безропотно исполняли любое...

Вскоре Д. вызвали в Смольный. В первый раз он был тут в войну. Смольный был обтянут маскировочной сеткой, вокруг зенитные батареи. Ему вручали первый орден. Вручал Жданов. Произнес им напутствие. Была зима 1942 года. Они слушали Жданова, пытаясь понять, куда идет война. Ничего не поняли. Чего говорил, пересказать было невозможно. Но обед запомнился, кусок булки взял с собой, Володе Лаврентьеву принес конфетину.

Нынешний Смольный был другой — ковровые дорожки, тепло, двери блестят, чисто, тихо, безмолвно.

Секретарь по промышленности, блондин, пухлый, и руки пухлые, похожие на хлебобулочные изделия, торжественно сообщил: есть такое мнение — назначить Д. директором кабельной сети города вместо Мухоморова. Нужны молодые свежие кадры, не связанные прежними отношениями с осужденными. Д. самая подходящая фигура по всем показателям.

Д. замотал головой. Ни в какую. Он еще в районе не освоился, сеть не изучил, куда ему. Он неопытен.

Его отказ выглядел всего лишь положенной скромностью.

— Неопытен! Слова какие знаешь. Тебе партия доверяет, а ты уклоняешься.

— Да не уклоняюсь, я свой крест несущий без всяких.

— Понятно, дорогой, хочешь, чтобы крест был полегче и Голгофа пониже. Не выйдет.

Перед секретарем лежала толстая папка, он листал ее и находил там несокрушимые доводы. Ребенок есть, жена работает, надо няньку брать, а где ее селить? Знакомая проблема. Вникал задумчиво. Квартирку обеспечим. Нормальную. В ведомственном доме. Трехкомнатную, как положено. Номенклатурную. И остальное. В смысле снабжения.

Он не сомневался, что перед такими благами сопротивление бесполезно. То, что Д. хмурился, ничего не означало. Два дня дается ему подумать, посоветоваться с женой, это нормально. Пусть однако учтет, что есть партдисциплина, что время строгое, главное, что партия доверяет...

И вдруг с горечью признался:

— Не горюй, меня тоже выдернули с Урала. И не пикни. А я тут никого и ничего. А что делать?

Они думают, что война научила его командовать, заставлять, не считаясь ни с чем. Что он, фронтовик, имеет право орать на ту же Лебедеву.

Разговор обострился, когда секретарь назвал Муху врагом народа. Вся эта компания ленинградцев противопоставила себя Центральному Комитету, опозорила город Ленина, им не могло быть пощады! И тут разговор обострился.

— Это ты брось, — вырвалось у Д., он тоже перешел на «ты», — что ты знаешь о блокаде, тебя не бомбили, не обстреливали на твоём Урале, так что не тебе судить. Секретарь налился краской.

— Не я сужу, ЦК судит. Ты не зарывайся. Вас, фронтовиков, не трогают, сиди и не возникай. Ишь, защитник нашёлся. Кого защищаешь, кого?

Он уже чеканил, опасно чеканил.

— Если его будут заставлять, заявил Д., он напишет в ЦК, что ввиду его неопытности это может привести к развалу электроснабжения и энергохозяйства города. Никто не отменял указания Сталина «Кадры решают все».

— Да кто тебя заставляет, — удивился секретарь. — Если ты такой дурень, что свой шанс упускаешь, ну и кисни. Мог бы далеко пойти.

Римме он объяснил свой отказ так — другие начальники районов не поймут. На чужом горбу в рай въехать захотел. Некрасиво, стыдно, да и скользко. Ныне обстановка — чуть что не так, загремишь по полной. Не ныряй под плот — это правило усвоил он с детства, когда нырнул под плот и заблудился там под бревнами, пока хватились, он уже тонул, еле откачали.

Римма повздыхала, мечталось выбраться из этой дыры. Нет, он прав, но счастье, что задело ее крылом, возникло видением — анфилада комнат: передняя, коридоры, кухня, ванная — все это ее, ее собственное... нет, конечно, слава богу, что отговорился. Жалко, конечно, но, как говорит ее начальник, — денег-то много, да некуда класть.

Супружество, как закон сообщающихся сосудов — что ни делаешь, отражается на другом, любое решение, настроение... Вечером пришел Гвоздев узнать, чем дело кончилось. Все в сети были прослышаны, куда его сватают. Гвоздев одобрил, лучше с ними не связываться, как говорили древние греки: бойся данайцев, дары приносящих.

Гвоздев принес чачу, у Риммы были малосольные огурцы, и отметили — вперед к свободе! Держись подальше от начальства, поближе к кухне!

— Ты прав! Не буди лиха, пока тихо! — возглашал Гвоздев.

Только ушел Гвоздев, ввалился пьяный сосед — Сливняк. Орал несусветное, все настоящие блокадники погибли, остались мародеры и людоеды.

— Мы с тобой спасли город, а фактически спасли шпану. Они пируют, все места заняты.

— Вы разве фронтовик, вы говорили, что служили в «Военторге», — сказала Римма.

— Женщина, что вы понимаете, — рыдал Сливняк, — На нас противник высадил десант!

Сливняк преисполнился нежной любви к Д. после того, как они в коридоре расстреляли крыс. Бросили колбасу, залегли в другом конце коридора и дождались. Д. подстрелил двух, Сливняк промахнулся.

После этого Римма потребовала сдать пистолет. С этим «ТТ» было связано много воспоминаний. Отдавать его в чужие руки не хотелось, пошли на Фонтанку. Постояли на набережной — «Извини, дружище», и Д. зашвырнул его подальше в воду.

Вещи облеплены воспоминаниями. У каждой свой кусок твоего прошлого. С ним ходил спокойно в Эстонии, по ночному Тильзиту...

Журналистка попробовала уговорить Д. произнести обращение к молодежи, к призывникам. Что он мог сказать, если он сам чувствовал, что не научился жить. Есть примеры, но нет рецептов. В свое время он немало встречал этих обращений от маститых ученых, философов, все они были умные, остроумные, полезные — ни одно из них не пригодилось ему. Как жить — этому нельзя учить, этому можно только учиться. Когда-то ему понравилась мысль Нильса Бора: «Это мнение совершенно правильное, но и противоположное тоже правильное». Где содержится истина? Годится ли она ему? Что-то ему подарил отец. Доброту. Торжество доброты. Преимущество доброты. Он вспомнил,

как в деревнях встречали отца, улыбались, сажали за стол. Тогда, в детстве, он думал, что так положено... Пример действует лучше, чем призыв. Другое дело, призывать легче.

Посреди ночи он проснулся, ему приснилась церковь, даже не церковь, а какой-то храм, древний храм, не то египетский, не то греческий, с беломраморными колоннами, на холме. В храме сидели боги, они тоже были мраморные, курчавые, но они двигались и громко смеялись. Они тоже спросили у Д., встречались ли они ему раньше, помогли, огорчили? Он не мог им не ответить. В самом деле, следовало себе в этом отдать отчет, все-таки он уже много прожил, а еще больше испытал, неужели у него нет ответа? Ну почему же, были несколько вещей, которые помогали жить, например, природа, в ней приходилось встречаться с богами. Иногда, особенно в детстве, он ощущал их присутствие — в поле или в пении птиц, но в последние годы он не бывал ни в лесу, ни в поле. Было еще одно дело, в котором появлялось иногда что-то такое счастливое, удивительное, это когда ему удавалось что-то придумать на работе, но и это случалось все реже. Еще было нечто крайне важное, о котором было даже боязно думать, но где-то в самом сокровенном своем сознании, которое даже во сне остается сознанием. Он все-таки решился и сказал, что, пожалуй, это была единственная обитель богов, какая сохранилась у него, то была его любовь. Только теперь он убедился, как мало и плохо он любил, с перерывами. Зачем?

Потом что-то завертелось, закружилось, появилась карусель, боги уселись в эту карусель, и Д. увидел, как его лейтенант под руку с Риммой идут к этой карусели и тоже садятся в нее, и под звуки шарманки кружатся вместе с богами. Он помахал им, но они не обращали на него внимания.

Он хотел рассказать Римме про этот забавный сон. Так ведь она станет спрашивать про лейтенанта. Пускать его в их жизнь он не собирался.

\* \* \*

Мой лейтенант читал Сталина, я — нет; он восхищался Жуковым, мне была не по душе жестокость Жукова и то, как он тратил без счета солдат; лейтенант клял нашу авиацию, я знал, как героически она воевала на своих фанерных самолетах. Мы стали слишком разными, почти чужими, плохо понимали друг друга. Я был уже старше и многое знал, но Библия учит: «Во многой мудрости много печали и кто

умножает познание, тот умножает скорбь». Чего другого, а познания я приумножил. У лейтенанта были одни кумиры, у меня другие. Наверное, их тоже сбросят. Пьедесталы освобождаются один за другим. Торчат пустые пеньки.

Мой лейтенант все так же жил в пылкой вере, жертвенности и мечтой о прекрасном будущем, в которое я никак не мог попасть.

Вернуться к тому лейтенанту так, чтобы понять, что он себе думает, трудно. Все равно как нынче вернуться в наш окоп. Я недавно побывал в Шушарах. От наших траншей, сколько мы их перекопали, ничего не осталось. Заросли, обвалились, сравнялись с травяным полем. Еле угадывались. Превратились во вмятины, вроде колеи, а местами вовсе заплыли. Похоже на старые шрамы. Угадал две землянки, это впадины, пологие, еле заметные. Кустарник растет клочьями. Позиции немцев по ту сторону шоссе так же запустели, как и наши. Чахлая осенняя трава растет, раздвинув осколки, среди свинца. Трудно ей. Люди подзабыли войну, а земля еще не может. Немного дальше, в стороне от нашей позиции, увидел я свежие окопы, ходы сообщения обшиты досками. Мне сказали, что делали это для киносъемок. Снимали войну для какого-то фильма, актеры в новеньких гимнастерках, новеньких касках играли нас, нашу оборону, нашу стойкость, наши ранения, наши смерти. Нам бы такие траншеи.

### *Экскурсия*

На большом зеленом поле выстроились кресты, десятки каменных крестов. Открывали немецкое военное кладбище. Прибыл посол Германии, был вице-мэр Петербурга, представители МИДа, делегации немецких ветеранов, соответственно, и ветеранов Великой Отечественной. Наши были в орденах и медалях, а вот немцы имели на пиджаках только крохотные значки. Тех частей, где служили — дивизии, эскадрильи, штабы...

Один из ветеранов, бородатый моряк, сказал Д. на ухо неразборчиво, что вот, мол, жили эти фашисты хорошо и лежат опять тоже в комфорте, а косточки наших ребят валяются по всем лесам.

Так-то так, но все же у Д. было какое-то удовлетворение: вот сколько их нащелкали. Не зря воевали.

Подошла девица из консульства с долговым немцем, представила его: Густав фон Эттер. Во время войны он возглавлял какой-то отдел военно-воздушной армии, а потом был в штабе 18-й армии. Это был высокий, элегантный аристократ, седоусый, седогривый, с белозубой улыбкой и крепким рукопожатием. Густав приехал с внуком, двенадцатилетним мальчиком. Бледный, тоненький очкарик, звали его Эрик. Густав свободно говорил по-русски. Откуда? Перед войной он работал или учился в Воронеже, где мы готовили немецких летчиков для Германии. Вплоть до самого 1941 года обучали.

Чиновники, и наши и немецкие, читали по бумажке свои речи. Переводчики переводили. Речи были схожи, немцы говорили то же, что и мы. Мы говорили то же, что и они. Мир, дружба, нацисты развязали войну, гитлеровская клика...

Стало моросить. Густав любезно прикрыл Д. большим синим зонтиком. Всем немцам выдали зонты и нашему начальству тоже. Остальные покорно мокли.

Наконец все кончилось, сыграли гимны, и все перешли под навес к столам с бутербродами и водкой. Д. спросил Густава, где он воевал. Выяснилось, что он лично не воевал, а курировал участок фронта Павловск — Пушкин — Пулково — Кузьмолово, то есть обеспечивал оперативной службой. Что это означало, Д. не очень понимал, но, поскольку это был его участок, оживился, они чокнулись рюмками «за встречу», словно однополчане.

Густав сразу перешел к своей мечте, давней мечте — посмотреть Петербург. Он много слышал об этом городе, считается, что это один из красивейших городов Европы. Густав спросил, не согласится ли Д. проехаться вместе с ним показать город, машину им дадут, они немного покатаются и поедут в ресторан обедать. Он приглашает.

Поехать — пожалуйста, но от ресторана Д. отказался. Ресторанные обеды требовали железного здоровья, которого ему не хватало. Он предложил пообедать у него дома, чем Бог послал. Немец согласился с удовольствием. С полдороги Д. позвонил Римме. Она заныла, в доме ничего особенного нет.

— Жена, — сказал Д., — свари картошку, купи пельмени, колбасу, сосиски, получится домашний обед.

Д. любил показывать Питер, он давно убедился, что нигде нет подобного сочетания просмотров воды, гранитных набережных, семейства каналов, речек, мостов. Он хвалился своим городом. «Медный всадник» был лучшим из всех памятников мира, Александровская колонна и Дворцовая площадь были самыми величественными. А Летний сад — нежнейшее создание садово-паркового искусства. Нигде белые ночи не будоражили душу, как в этом городе. А тут Достоевский, а там Гоголь...

Как видно, Густав пользовался особым почетом, потому что консульство им выдало «мерседес», и они на машине с дипломатическим номером смотрели город. То и дело выходили из машины, шли пешком через мосты, машина медленно следовала за ними. Панорама города восхищала Густава, вид на Петропавловскую крепость, на мечеть — все здесь раскинулось так привольно, как нигде, ни в одной столице ничего подобного нет. Он заметил, что город весь стоит лицом к реке. Венеция, та стиснута, там есть ощущение средневековой скученности, здесь же архитектуре дан простор, она сохраняет линию реки. Немудрено, что сюда охотно приезжали архитекторы со всей Европы — итальянцы, французы, немцы, здесь они могли развернуться на этой равнине среди линии воды и неба, поиграть вертикалями, куполами.

Д. слушал Густава с удовольствием, его вдумчивые оценки, не просто «Ах, как красиво!», он воздал должное Ростральным колоннам, Невскому проспекту, особый восторг вызвал у него Смольный собор, гениальное творение Растрелли. Он готовился к этой поездке, читал путеводители. Кто бы мог подумать, что в России есть такой город.

Осуществилась его мечта увидеть Петербург не сверху с самолета, не в бинокль.

— Ведь мы должны были взять город тогда, в 41-м году. Все было готово к этому.

Как легко он возвращался в то страшное утро, в поле, где тысячи людей метались под пулеметами немецких штурмовиков.

Не зная об этом, Густав, по сути, вспоминал тот же день, свои надежды войти в Ленинград, ему тоже запомнились все подробности, еще накануне они представляли, как будут маршировать по Невскому. И вдруг их остановил приказ — из генштаба, затем из ставки Гитлера.

Никто не объяснял, что произошло. Густав помнил растерянность и негодование офицеров. Капитуляция... Дожди перешли в снегопады. Город маячил на горизонте со своими куполами, трубами, все такой же блестящий и недоступный, как мираж.

\*\*\*

«Все настоящее», нахваливал Густав. Щи, пельмени, соленые грибы, кислая капуста, селедка — то, что было у Риммы. Если с аппетитом. За границей Д., как правило, не приглашали на домашние обеды, домашний обед был редкость, приглашали в рестораны, каждое блюдо было художественно оформлено. Здесь же, по словам Густава, все было русское, без выкрутас, и тем вкуснее. Он спрашивал, почему щи называются «суточные», почему пельмени «сибирские».

У Д. был свой интерес. Перед ним сидел не просто бывший солдат, а офицер, приближенный к высшему командованию, куда доносилось то, что происходило в Берлине. Он мог знать, о чем шептались генералы, намеки, слухи, все то, что не попадает ни в какие документы. Густав вспоминал, как все было подготовлено к пребыванию в Ленинграде. Были отпечатаны пропуска, назначены офицеры комендатуры, город заранее был разделен на районы.

И тут что-то произошло в ставке у Гитлера, почему-то Гитлер круто изменил решение и дал указание в город не входить. Он был мистик, его посещали предчувствия, озарения. Никаких ясных пояснений командиры не получили. Густав не знал, что произошло. Его интересовало другое — почему Европу можно было захватить, а Россию — нет.

Рациональных объяснений у Д. не было.

— Наверное, потому, что мы вели войну справедливую.

Густав вежливо соглашался, он об этом никогда не думал.

Д. спросил, жалеет ли Густав, что тогда, в сентябре, не вошел в город.

Густав задумался.

— Тогда жалел, теперь рад. Это, конечно, слишком просто. Жалел — я офицер, а город был для меня военный объект. Теперь город для меня произведение искусства, а я... — он задумался. — Может, просто иностранец? — он вопросительно посмотрел на Д.

— Вам помог освободиться Нюрнбергский процесс, — сказал Д. — принуда помогла, нам же самим приходится выбираться из прошлого. Нас судить чужие дяди не могут.

— Что такое принуда? — спросил Густав.

Время от времени он переспрашивал: — Что такое идейная неблагонадежность? Что такое контра? Драпать? Он не понимал многое — почему надо каждый год праздновать Победу, неужели ничего другого не появилось? В Европе вспоминают об этом редко, так же, как о Первой мировой войне.

Неизвестно почему, Д. вспомнился дождливый денек, когда хоронили Витю Ломоносова, какой он был легкий, высохший дистрофик, Д. нес под мышкой его высохший труп, как доску.

Римма входила и выходила, не вмешиваясь в их разговор. Густав оглядывал ее чисто по-мужски: сверху донизу, ноги, грудь. Д. доставляло удовольствие, когда она нравилась другим. Однажды, когда Римма вышла, Густав, провожая ее взглядом, вдруг прервал их спор.

— Завидую вам, — сказал он. — Я старше вас и убедился, что нет ничего важнее семьи и любви. Все приходит и уходит, все эти разногласия, о которых мы говорили, история, музыка — все проходит, а это остается, — он кивнул на кухню, куда ушла Римма. — Это пребывает с нами до самого конца и примиряет нас с кончиной в последнюю минуту. Я знаю, что так со мной будет. Моя покойная жена помогла мне справиться с горечью нашей катастрофы. Вы знаете, как она уходила из жизни? Без единого упрека, ничего плохого обо мне она не вспоминала, измены, обманы, двоедушие — все отбросила, оставила только про нашу любовь, счастливую, без разочарований и слез.

В самом деле, стоит ли вспоминать о плохом, думал Д. Уходя, она благодарила мужа за все хорошее, это ему дорого, это смягчило горечь утраты.

Говорят, что нельзя забывать преступления правителей. А вот война, она же состоит не только из Победы. Римма говорила ему: «Вылезай из окопов, из танка, хватит, хватит, чего тебе выяснять, ты же не историк». Почему прошлое не отпускает его? Оно все время шевелится под пленкой нынешней жизни. То там, то тут прорывается, не остывает. Иногда ни с того, ни с сего. Недавно в разговоре с дочкой

ему вспомнилось, как в батальоне они съели последнюю артиллерийскую лошадь. Только спустя несколько месяцев получили два американских джипа из ленд-лизовских. И они с Лаврентьевым учились таскать на этих машинах пушки по весенней распутице. Джип буксовал, и он собирал ветки подкладывать под колеса.

— Знаете, Густав, я буду начистоту, иначе нет смысла. Известно было, что вы расстреливаете комиссаров, коммунистов, евреев, начальников и тому подобных.

— Солдаты этим не занимались.

— Вы пили кофе и ждали, когда жители передохнут. Так? Вы выполняли указания фюрера, то есть вашего главнокомандующего.

— Нас также убивали, гибли обмороженные... Господи, о чем мы?

— Извините, если я разворошил.

— Вы уверены, что нас тут не прослушивают?

— Мне плевать.

— Я думаю, что вы не могли выкинуть белый флаг без разрешения Сталина.

— Мы все время пытались прорвать блокаду.

— Наверное, нет единственно правильной истории, — сказал Густав. — В России мы оскотинились. Стыдно вспомнить.

Густав подцепил последний пельмешек, макнул в сметану, зажмурился от удовольствия, похвалил Римму изысканно, употребляя: «Нигде... ничего подобного...» и продекламировал:

*Essen, Trinken und nicht  
Wir verlorene Paradies*

Что означало:

*Едой, а не питьем  
Мы потеряли рай.*

Он вдруг разоткровенничался, рассказал, как дочь его расторгла брак с фабрикантом, потомком Бисмарка, вышла замуж за еврея и уехала с ним в Израиль.

— Вот что творит Провидение, тоже чудо.

Так же, как и то, что он сидит у человека, который хотел его убить, от которого он бежал, чудо, что они оба уцелели, и то, что встретились,

и то, что они могут так сидеть.

Густав сказал:

— Прошное дарит нам удивление, а не утешение.

Для Д. была удивительна дисциплина немецких офицеров, наши командиры вряд ли бы удержались, они вошли бы в город.

Тут вмешалась Римма. Она спросила, представляли ли они, немцы, что творилось в городе.

— Конечно, представляли.

— Вы понимали, что вы душите город голодом, что вы воюете не с солдатами, а с горожанами?

— Конечно, Ленинград была не самая почетная операция, — согласился Густав. — Европейские города объявляли в таких случаях себя открытыми городами. Ленинград же упирался.

— Да, мы не объявили, — сказал Д., — мы знали, с кем имеем дело. Чем кончилась осада Трои? Враги, когда наконец вошли в город, разрушили его. Гитлер обещал стереть с земли Ленинград.

Получилось резко, возникла неловкость, но Густав, светский человек, достал из бумажника свою фотографию 41-го года. Молоденький щеголеватый офицер в форме военно-воздушных сил стоит, опираясь на тросточку, среди горелых ястребков. Он спросил у Д., где его фотоальбом. А у Д. никакого фотоальбома не было, было в конверте несколько плохих, туманных фотографий танковой роты его, вместе со своими офицерами при входе в Восточную Пруссию. Эрик, внук Густава, сразу завладел этим конвертом, стал рассматривать.

\*\*\*

В августе 1941 года по дороге в штаб Майнштейна Густав с одним майором заночевали в деревне Низовка. Густав устроился в машине, а майор отправился в ближнюю избу. Посреди ночи майор растолкал его в ужасе: его заели клопы, он думать забыл про существование этих насекомых. Сотни их навалились на него, кидались на него с потолка, он был весь искусан.

— Зачем, — кричал он, — зачем надо было отправляться в эту дикую страну? Болота, нищета, бездорожье, жалкие деревушки. Понятно было, когда они входили во Францию, в Голландию — там

нормальная жизнь, здесь в России ничего нет, первобытный уклад. Фюрера ослепила ненависть.

Густав смеялся, вспоминая того майора. Но что, спрашивается, изменилось с тех пор? Когда они ехали сюда в поезде, он смотрел в окно — те же избушки, то же бездорожье, наверное, и клопы те же, говорят, что клопы долго живут.

В его бархатной любезности было сочувствие человека из иного мира. Да, у них тоже была разруха, и все же они оставались в другом измерении. Д. соглашался: и клопы, и бедность, и бездорожье. Как были, так и есть. Но как при этом мы сумели вас разгромить, несмотря на ваши автобаны, «мерседесы», почему ничего это вам не помогло? Почему мы победили? Наши священники считают, что произошло чудо. Но душа Д. отказывалась принять дарованное свыше. Перед его глазами всякий раз появлялась дорога, горит танк, взрывом сносит башню. Подбит следом идущий танк, он бешено крутится на месте, взрыв, это взорвался боекомплект. Картина боя бесшумно повторялась снова и снова. Зеленые холмы, столбы черного копотного дыма подпирают небо, а танк все крутится, разворачивая землю. Вонь горящего металла, вонь солярки, человечины — все вместе, все разом в одном костре. Танк, развороченный взрывом, дымит, никак нельзя подойти к нему, они все сгорают внутри. Крематорий, общий на весь экипаж.

— А для меня чудо было, — вдруг произнесла Римма, — Я знаю, это мое чудо.

— Бог наказал вас всепрощением, а нас победой, — сказал Д., — Вас заклеил позором, а нас — гибелью миллионов лучших людей.

— Нет, чудо было, — упрямо повторила Римма, — Для меня, мое чудо!

А Густав сказал:

— Женщины улавливают нам недоступное.

Неожиданно Эрик, глядя на Д., что-то спросил.

— Что он сказал?

Густав поморщился.

— Глупость... Убивали ли вы людей на войне?

Его не впервые спрашивали об этом. Он обычно отделялся широкой улыбкой: «А как же, на войне только этим и занимаются».

Что еще можно было сказать.

То было на встрече с ребятами в школе на Петроградской. Он ответил, что на то и война. На нас напали, нам пришлось отбиваться. Спрашивала его девочка с двумя тощими косичками, сама тоненькая. Когда Д. ответил, она продолжала ждать, и остальные тоже молча ждали. Кто-то спросил: «Расскажите». «Неохота» — сказал Д.

После встречи учительница молодая, покраснев, сказала: «Извините, эта девочка, она верующая, ничего с ней не поделаешь».

Д. успокоил ее, все естественно. Больше он не выступал. За последние годы что-то произошло. Их уже меньше интересовали подвиги, танковые сражения. Сколько он убивал — разве он знал? Попал или не попал — не угадаешь, солдату не всегда известно.

— Сколько? — поинтересовался Эрик. — Сколько вы убили?

Д. пожал плечами. Стреляешь из окопа в другой окоп, или на дорогу. Попал, не попал, шут его знает. Цель исчезает. Спрятался? Упал?

Густав пробормотал что-то неодобрительно, но мальчик продолжал смотреть на Д. От его взгляда ему было не по себе. Было время, когда он с удовольствием рассказывал, как они из своей дурищи бабахнут в дом и дома нет, пыль, обломки. Смотришь в триплекс, как этот уже не дом, а мусор взметался в воздух вместе с душами обитателей, сколько их там было, все они улетали в небеса.

Сейчас он не мог расписывать эти картины ни Эрику, никому другому. Почему, он не отдавал себе отчета.

— Не знаю сколько, — признался он, и добавил твердо: — знаю только, что наших убили больше, чем немцев.

Это не было ответом. Его спрашивали, сколько он убил на той войне, убил людей. Он убивал фашистов, а Эрик спрашивал про людей, вот в чем дело. Такая произошла пересортица.

Прежде, чем распрощаться, мы постояли на набережной. Было одиннадцать вечера, а заря все не гасла, вода в канале отражала бесцветное небо, оно излучало свет без солнца, неизвестно откуда он шел.

Как все странно выглядит, — говорил Густав.

Когда-то в молодости меня волновали эти белые ночи, их призрачный свет, он проникал вглубь подворотни, в каждую впадину,

лепнину барельефов, повсюду проступали невидимые прежде черты зданий.

— Что-то необычное тут... не пойму, — бормотал Густав.

И меня до сих пор томила тайна белых ночей. Что-то я понял, разглядывая рисунок Добужинского к «Белым ночам» Достоевского. Иллюстрация изображала такую же набережную, у ее перил стояли двое. Графика. Черное и белое. Ничего другого у художника не было. Но это был не день, это была ночь, белая ночь. Откуда это следовало, что именно белая ночь? Каким способом этого добился художник? Секрет долго не давал мне покоя. Однажды сработало: на рисунке не было теней! Ни у людей, ни у предметов. Светло, белое небо и никаких теней.

Мое давнее открытие заинтересовало Густава. Он поднял руку, наклонился, ища свою тень, ее не было. На плитах тротуара ничего не отражалось. Густав неуверенно хмыкнул. Он не представлял, что так может быть. Мы вспомнили фантастическую повесть Шамиссо про то, как герой продал свою тень дьяволу и какие беды обрушились на него. Во время войны в окопах и у нас, и у немцев тоже были белые ночи, но они были другими. Мы вспоминали, что те ночи были без ракет, и без них видна была нейтралка, удобно, но никакого волшебства.

— Сказочный город... — Густав помолчал и добавил: — хорошо, что он уцелел. Что мы не вошли сюда.

— Хорошо, что мы не сдались, — сказал я. Мне подумалось, что, кроме всего прочего, мы сохранили город белых ночей. Многое мы сохранили, да вот людей не сохранили. Они уходили, почти все ушли, кто куда. Среди них я вдруг увидел моего лейтенанта. Он тоже уходил вместе с Женей Левашовым, Володей Лаврентьевым. Совсем молодой, тоненький, перетянутый ремнем, густая шевелюра торчала из-под лихо сдвинутой фуражки. Сбоку болталась планшетка. Он мне нравился. Хотя, честно говоря, порядком надоел. Надоела его наивность, доверчивость, он никак не мог понять, что со мной произошло. Конечно, жаль, что мы расстаемся, но пора жить без него, без его мечтаний и упреков.

# Примечания

## 1

О, мой бог! (нем.)

## 2

Так не бывает (нем.)

## 3

Правда, другая война (нем.)

## 4

Невозможно... Жизнь не может быть так ужасна... Сон... Все возможно... У Фрейда есть... Это не реально... Сон не наказуем... Не боюсь... Все пройдет... Знаю... Настоящая жизнь — это детство. Мой дядя... Мы сидим в саду... (нем.)

## 5

Катись все к черту! (нем.)